Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 10

2018

СОДЕРЖАНИЕ:

ПАМЯТИ МАНСУРА ВЕКИЛОВА

Елизавета КАСУМОВА. **Вехи** 3
Алина ТАЛЫБОВА. **Музыка на обочине февраля** 23

ПРОЗА

Фикрет ГОДЖА. **Люди ясного мира.** *Повесть* 25
Мубариз ОРЕН. **Белые облака.** *Повесть* 68
Керамет БЕЮКЧЕЛЬ. *Рассказы* 123

ПОЭЗИЯ

Нурангиз ГЮН. *Стихи* 56
Гюнель ЭМИНЛИ. *Стихи* 114
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. **Воспоминание** 127

ПУБЛИЦИСТИКА

Эсмира ФУАД. **Мне хватит лишь того, чтоб жили мои стихи...** 60
Эльмира АХУНДОВА. **Найти себя** 120
Али БАГИРОВ. **Юбилей – новый горизонт жизни** 128
Рафик АСКЕРОВ. **Созидатель** 130

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел публицистики – **Ровшэн КАФАРОВ**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,*** **Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com
Тел: 493-86-04; 493-75-81

Сдано в печать 20.09.2018г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2018 г.

ПАМЯТИ МАНСУРА ВЕКИЛОВА

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

В Е Х И

Встречи и расставание

Когда-то в глупой, восторженной юности, когда хмельные стихотворные строчки только еще начинали бродить в моей крови, я скупала в книжных магазинах и киосках города тоненькие книжечки стихов. Со временем их набралось столько, что домашними было мне настрого наказано немедленно освободить от них наш многострадальный книжный шкаф, оставив только те, которые будут мною читаться и перечитываться. Перебрав книжицы, я, к своему удивлению, без особых сожалений раздарила их все – кроме одной, с которой не смогла расстаться, потому что стихи в ней, очень лиричные, с изящными рифмами и образами, были удивительно созвучны моей душе. Это был голубой стихотворный сборничек Мансура Векилова «Плеск весла».

Пройдет немало лет, прежде чем я робко переступлю порог его редакторского кабинета в «Литературном Азербайджане», чтобы по совету друзей предложить для возможной публикации свои скромные опусы. Впечатление от личной встречи было точно такое же, как и от поэтической: ощущение своего, близкого по духу человека. Быть может, еще и потому, что он, уже давний житель поэтического Олимпа, был прост и приветлив со мной, стихи мои принял благосклонно и вскоре их напечатал. Охотно публиковал их и далее.

Мы общались не столь часто, как хотелось бы, но общение это всегда было для меня щедрым подарком судьбы. Не только потому, что я очень любила его стихи, которые были для меня настоящим поэтическим «лакомством», но и потому еще, что всегда, почти физически, ощущала некие духовные нити, протянувшиеся между нами, которые с годами крепли…

Стихи, опубликованные им в разное время в «его» журнале, особенно дороги мне, потому что они были прочитаны и отобраны им. Какие-то из них он правил, придавая строчкам завершенность и отточенность, свойственные всему, что он делал. Поэтому в каждом из них есть и частица его. Я назвала эти свои воспоминания «Вехи», потому что каждая наша встреча была своего рода вехой на моем литературном пути.

И за каждую я безмерно благодарна…

…С чего начать? Наверное, с самой первой встречи, когда я впервые пришла в редакцию журнала «Литературный Азербайджан», которая размещалась тогда (это был 1995 год) напротив станции метро «Баксовет» (ныне – «Ичери Шехер»), на улице, называвшейся в те годы Коммунистической. В литобъединении «Хазар», которое я тогда посещала, иные доброхоты мне категорически не советовали даже пытаться, потому что тамошний главный редактор, якобы, почти никого «со стороны»

не печатает. И все же я, взяв с собой с десяток стихотворений, набралась храбрости и пошла. Мне сказали, что редактор журнала – Мансур Векилов, и это заставило меня оробеть еще больше. Ведь сборник стихов именно этого поэта, «Плеск весла», в свое время случайно купленный в киоске «Союзпечати», был на протяжении уже многих лет одним из самых моих любимых…

Большой интерес к литературе, к поэзии был у меня с детства. Я и сама что-то сочиняла. Однако вышло так, что, несмотря на всегдашнюю мою тягу к художественному слову, судьба меня забросила совсем в иную сферу – я окончила юридический факультет Азгосуниверситета и достаточно долго работала по полученной специальности. Стихи периодически писала, но исключительно для себя – это были как бы дневниковые записи, которые у меня и в мыслях не было кому-либо показывать. И стихи своих любимых поэтов, в том числе и мансуровский сборник, почти не перечитывала. Но прошло время, и я поняла, что занимаюсь не совсем тем, чем бы мне хотелось. В моей жизни все изменилось – я забросила уставы и кодексы и теперь вновь с наслаждением перечитывала любимых писателей и поэтов, стала ходить на встречи в литературных объединениях… И вот теперь, узнав, что мне предстоит встреча с Мансуром Векиловым, я достала из глубин шкафа хранившуюся в нем в течение двух с лишним десятков лет голубую книжечку. Читая и перечитывая ее, я заново узнавала этого прекрасного поэта (об этом сложится стихотворение, которое спустя несколько лет я покажу Мансуру, и он его опубликует). Вот несколько строф из него:

Мне было девятнадцать лет,
Когда я с вами повстречалась,
Не наяву – какая жалость! –
Не наяву, и не во сне.

Прохладный томик голубой
За призрачным стеклом киоска –
Непримечательный, неброский,
Но я его взяла с собой.

Его читала в тишине,
От ощущения немея,
Что существует на земле
Душа, так схожая с моею…

Мне казалось странным, что такой поэт живет с нами в одном городе, и все это воспринимают как должное. И можно даже пойти и увидеть его «живьем»… Я вовсе не надеялась, что он вот так вот сразу напечатает мои «вирши», просто хотелось услышать его мнение, узнать, стоят ли чего-то мои стихи и надо ли мне продолжать их писать.

И вот я вхожу в подъезд старого дома, выстроенного, наверное, лет сто назад щедро и с размахом: арка над входом, просторные помещения, высокие потолки… Здесь размещался целый ряд самых разных учреждений, начиная, помнится, с городской прокуратуры и Торговой палаты и кончая Обществом зеленых и редакциями нескольких литературных журналов, выходящих под эгидой Союза писателей… Поднимаюсь в массивном, громоздком лифте на четвертый этаж (выше, под самым небом – только мастерские художников), иду по неухоженному, широкому и гулкому кори-

дору, нахожу нужную дверь. За ней в просторном, светлом кабинете с большим окном, за которым вдали виднеется море, никого. Подождав немного, вижу идущего мне навстречу высокого, светловолосого, красивого человека: «Вы ко мне? Я – Мансур Векилов»…

Я теряюсь: на обложке моей книжицы он совсем другой – темные усы, темные волосы – впрочем, фотография не цветная и потому не дает точного представления об «окрасе» того, кто на ней изображен. А здесь – светлые глаза, из которых льется чуть лукавый и такой ясный свет. Он смотрит на меня доброжелательно и предлагает войти. Представившись, робко сообщаю ему о цели своего визита. «Давайте посмотрим ваши стихи», – говорит он.

Я смотрю, как он, не спеша, тут же, при мне, внимательно прочитывает принесенные мной стихи. Исходя из уже имеющегося опыта, я ожидала, что он скажет что-то вроде того, что, мол, оставьте стихи, я очень загружен, будет время, прочту, позвоните мне дней через десять, – что я сочла бы вполне нормальным. Но он был другим, не как все, как я со временем узнаю, другим во всем, и эта его непохожесть на других была прекрасна. Во мне этот человек с первой же встречи вызвал самые теплые чувства и, надо сказать, что в течение почти полутора десятков лет нашего знакомства он ни разу не дал повода для того, чтобы они стали хоть чуточку холоднее.

Я обратила внимание на то, что какие-то стихи он откладывает в сторону, и в моей душе затеплилась робкая надежда, что в них, быть может, он нашел что-то, стоящее его внимания. И тут он снова удивил меня. Подняв голову от листов с моими творениями и указав на отложенные в сторону, просто сказал: «Вот это я, пожалуй, опубликую. Остальное мне понравилось меньше, но пишете вы хорошо. Приходите к нам еще. Я с удовольствием буду вас печатать. Правда, гонораров авторам мы сейчас, к сожалению, платить не имеем возможности»… Какие там гонорары – главное, что мои стихи появятся в настоящем литературном журнале!

К этому времени мои стихи и очерки не раз уже публиковались в различных газетах, но «Литературный Азербайджан» – совсем другое дело. Журнал этот – издание для настоящих профессионалов в области литературы. Поэтому обещанная публикация наполнила меня таким восторгом. Векилов дал мне телефон редакции, предложив звонить, проводил меня до двери, и мы попрощались. Не чуя под собой ног и не очень веря в реальность происходящего, я, проигнорировав лифт, спустилась вниз по крутым ступеням и, воодушевленная, отправилась домой.

Как я потом узнала, журнал в тот период переживал не лучшие времена. Середина 90-х вообще была достаточно сложным временем – СССР распался, экономика разваливалась, нужно было строить новое, независимое государство и новую экономику. Поэтому до журнала у государства руки не доходили – известно, что подобные издания существуют за счет госдотаций. Во время торжества желтой прессы и литературной «клубнички», которые после снятия всех запретов правили балом, помощь государства становилась еще более актуальной. А ее не было. В ту пору многие периодические издания, такие, как, например, газета «Молодежь Азербайджана», попросту приказали долго жить. То, что этого не случилось с «Литературным Азербайджаном», – во многом заслуга Мансура Векилова. Он в течение ряда лет тянул журнал на себе, изыскивая возможности где-то достать бумагу, средства для оплаты услуг типографии и стараясь найти для журнала авторов, часть из которых уехала из страны, часть ударилась в бизнес. Речь идет о стоящих авторах – в графоманах не-

достатка у журнала никогда не было. Да еще нужно было, чтобы авторы эти согласились публиковать свои вещи «на общественных началах», то есть – без гонораров. Но Векилов умудрялся как-то решать эти проблемы. Журнал существовал в режиме строжайшей экономии, выходил минимальным тиражом, всего в 100 экземпляров, и выходил не ежемесячно, а раз в три, а то и в шесть месяцев. Векилов привлек в журнал много новых авторов, среди них немало по-настоящему талантливых, но публиковал порой и откровенно слабых, переписывая их чуть ли не на 50 процентов… Но журнал – жил! И это было главным.

Мой первый визит в журнал и знакомство с его редактором состоялось летом 1995 года. И вскоре вышел очередной номер – N 1-6 за 1995 год. И в нем была подборка моих стихов, и это было здорово! Кстати, когда доброхоты впервые услышали о результатах моей встречи с Векиловым и его обещании меня опубликовать, они поведали мне, что он все мои стихи «искромсает» и переделает. И опять ошиблись – Мансур не изменил в моих стихах ни строчки, ни слова.

Летом этого же, 1995 года, произошло и еще одно важное для меня событие – я впервые попала на одно из ежемесячных заседаний литобъединения – «Родник», которое работало при газете «Вышка». До этого я бывала на встречах в литобъединении «Хазар», и они, честно говоря, мало что мне давали в плане литературного опыта. Другое дело «Родник». В то время его вел Владимир Кафаров. Встреча с ним также сыграла немалую роль в моей жизни. Я стала ходить на его занятия постоянно. Он был не только прекрасным поэтом и переводчиком, но, на мой взгляд, и прекрасным педагогом – я очень четко ощутила, что, внимательно прислушиваясь к его замечаниям, сделанным не только мне, но и другим авторам, приходившим в «Родник», можно очень многому научиться. Должна сказать, что ко мне Кафаров благоволил: после прочтения первой же показанной ему подборки он, хотя и подметил ряд несуразностей, все же в целом отозвался о моих стихах достаточно лестно и впоследствии это свое первое мнение не раз подтверждал. Пройдут годы, и он публично станет называть меня своей ученицей – говорю об этом с гордостью и признательностью.

Вообще, начав вращаться в мире литераторов, я вскоре узнала, что в нем, если говорить об азербайджанской поэзии, создаваемой на русском языке, существует три корифея: Векилов, Кафаров и Мамедзаде. С Сиявушем Мамедзаде я тоже вскоре познакомлюсь. Три этих поэта станут для меня дорогими, близкими людьми, и каждый из них сыграет свою роль в моей жизни, всегда – самую положительную, за что я им безмерно благодарна. И все-таки самым близким по духу, по отношению к жизни, по взглядам на литературу будет для меня Мансур Векилов. Мне всегда было с ним легко – так, как ни с кем другим, – особенно в последние годы.

Поскольку я восстанавливаю вехи наших встреч, в основном, по публикациям в журнале, вынуждена пропустить весь 1996 год, потому что журналов за этот период у меня почему-то не сохранилось. Помнится, что-то я приносила в редакцию, и Векилов это публиковал. К сожалению, следующий номер журнала, который я обнаружила в своем архиве, – N 1-4 за 1997 год. Надо сказать, что и этот – 1997 год – был для меня весьма удачен: Мансур печатал меня в каждом номере «Л.А.», а всего их в том году вышло три – теперь уже журнал выходил раз в четыре месяца. Впрочем, быть может, я действительно не печаталась в 1996-м в журнале, потому что была занята совершенно новой для меня работой, о которой обязательно хочу рассказать, потому что здесь я познакомилась с Ирадой Векиловой.

Итак, начиная с 1994 года, я начала активно публиковаться в местных газетах – «Азербайджан», «Гюнай», «Вышка». Это были документально-художественные очерки о шехидах (позже Центр культуры славян, по заказу которого и писались эти материалы, издаст по ним книгу «Своя земля»). Летом 1995-го я показала свои очерки Владимиру Кафарову, и он их одобрил. Он в то время работал в газете «Гюнай» литературным редактором и вскоре предложил мне написать для их газеты материал о работе баиловского ДК морских офицеров. Я решила попробовать. Это был первый материал, заказанный мне газетой. Предварительно договорившись с директором ДК, я отправилась туда и провела там полдня... Полная впечатлений, села дома за статью и написала ее на одном дыхании. Кафаров ею остался доволен, статью опубликовали. Вскоре Владимира Азимовича «переманили» на работу в другую газету. И с этим событием связан достаточно большой и важный этап и в моей жизни. Речь идет о газете «Бакинский рабочий», которая в советское время была в республике чем-то вроде московской «Правды» или «Известий», то есть – главной газетой. После развала Союза газета захирела и постепенно перестала выходить. Формально она продолжала существовать, какие-то сотрудники по-прежнему числились в ней, но фактически давно уже не работали, зарплату не получали, газета не издавалась. Возвратившийся к власти в 1993 году и избранный президентом страны Гейдар Алиев решил газету реанимировать, придав ей статус президентской газеты – ее учредителем стало Управделами Президентского аппарата. Для того чтобы поднять газету, необходимо было предпринять ряд шагов. Первым стало назначение на пост главного редактора газеты Ирады Векиловой – известной журналистки, в свое время сотрудничавшей в газетах «Молодежь Азербайджана» и «Вышка». Теперь же она создала и возглавила первое в стране информационное агентство АССА «Ирада», которое на тот момент весьма успешно работало. Агентство требовало от нее полной отдачи, и от предложения возглавить «Бакинский рабочий» она поначалу отказалась. Однако, как мне рассказывали, ее вызвал Гейдар Алиевич и в личной беседе попросил все же взять на себя руководство газетой, поскольку это нужно для республики. И Векилова согласилась.

Ей нужны были грамотные люди – многие бывшие сотрудники «Бакраба» разъехались, кто куда. И она пригласила в качестве своих заместителей Владимира Кафарова и Сиявуша Мамедзаде. А Кафаров предложил ей в качестве корреспондента меня. Это было большим доверием, потому что я не была профессиональным журналистом и только в последние год – полтора начала писать какие-то очерки. Векилова сказала, чтобы я представила ей свои журналистские работы. Их было не так уж много, я передала их через Кафарова. Она довольно долго медлила с ответом, пока к Кафарову не подключился и Сиявуш Мамедзаде, с которым я к тому времени тоже была уже знакома, и с которым мы хоть и редко, но тепло общались. И Векилова пригласила меня к себе на предмет трудоустройства. Это была очень серьезная, строгая женщина – таково было мое первое впечатление о ней. Она спросила, на какие темы мне бы хотелось писать. Я ответила, что меня интересуют литература, музыка, живопись. Векилова ответила, что о культуре и без того многие пишут, ей же нужен человек, который бы писал на социальные темы, и, учитывая, что я по образованию юрист, это как раз для меня. Честно говоря, мне хотелось на тот момент полностью отойти от своей бывшей профессии, но отказаться я не решилась. И была зачислена корреспондентом в редакцию социальных проблем. Было это в ноябре 1995 года. И с тех пор моей новой профессией стала журналистика.

В «Бакинском рабочем» я проработала почти 10 лет. Уже через год после прихода в нее Ирада ханым сделала меня спецкорром, а еще через год – зав. редакцией социальных проблем. Я уйду из этой газеты только в 2003 году, с должности заместителя главного редактора, похоронив за два года до этого моего учителя, Владимира Кафарова, который проработает в «Бакрабе» до самой своей смерти.

Но все это будет потом. Пока же я только начала работать в газете. И вскоре с огромным удивлением узнала, что Ирада Векилова – супруга Мансура Векилова, та самая, которой он посвятил не одно стихотворение в столь любимом мною голубом сборничке, который я с таким восторгом читала. Вот строчки из одного из посвященных ей стихотворений:

Ира,
Сквозят под ледком хрупкой просини,
Как телеграфные краткие сны,
Веслышки ясеня –
Весточки осени
Или, быть может, весны.
Ира,
Ты рядом,
Ты просто – поодаль.
Воздух в Останкино пьется легко.
Там, где достало труда,
Я все отдал,
То, что осталось во мне, глубоко...

То, что героиня стихов одного из моих самых любимых поэтов – наш главный редактор, удивило меня, потому что нарисованный им романтический образ трудно было увязать с твердой, решительной, всегда упорно идущей к цели и умеющей ее добиваться Ирадой ханым. Этими качествами она, кстати сказать, обладала с детства – как мне расскажет ее родственница Земфира ханым, работавшая в «Бакрабе» корректором, будучи подростком, Ирада ханым со своей семьей жила в Ашхабаде. И когда случилось то самое печально известное ашхабадское землетрясение, семью Ирады ханым завалило в обрушившемся доме. К счастью, они не пострадали физически, но морально, конечно, это было огромное испытание. Они находились под завалом, сидели, скорчившись, в полной темноте, не надеясь на спасение – на их крики никто не отзывался. И тогда девочка Ирада начнет разгребать камни и щебень, медленно продвигаясь вперед, пока не увидит впереди полоску света, на которую они выползут и будут вызволены оттуда – теперь их услышат…

Мансур был совсем другим: мягкий, лиричный, очень интеллигентный, изысканно-ироничный. Впрочем, со временем я узнаю и ее, и его ближе, и пойму, что она – человек очень добрый, всегда готовый не на словах, а на деле помочь тому, кто в этом нуждается, чем многие, к сожалению, пользовались без зазрения совести; он же, при всей своей внешней мягкости, может быть в каких-то вопросах очень твердым, порой даже жестким – правда, проявлялись эти качества крайне редко, во всяком случае, на моей памяти… Мне тоже довелось столкнуться с этим его качеством – правда, за все десять лет нашего общения – лишь однажды. Это было в 1998 году. Мансур сказал мне, что в этом году отмечается юбилей Микаила Мушфига, и было бы хорошо, если бы «Бакинский рабочий» как-то отметил это событие. Я с головой зарылась в материалы об этом поэте и вскоре написала о нем материал – по отзывам,

очень неплохой. Позвонила Мансуру, сказала, что материал вышел. Дней через десять мы встретились на каком-то литературном мероприятии, и я, ожидая похвал, спросила его о материале. Но он сказал, что в материале слово «Мушфиг» дважды прошло как «Мушвиг», чего сама я, к сожалению, не заметила. «Мушфиг заслуживает более внимательного отношения к себе», – сказал тогда Мансур, и был совершенно прав…

Со временем у нас с Ирадой ханым, так же, как и с Мансуром, сложатся очень теплые, доверительные отношения, хотя я общалась с ними с каждым по отдельности и никогда – вместе. За исключением одного случая, о котором расскажу позже.

Я написала об Ираде ханым так подробно потому, что все это имеет самое прямое отношение к главному герою моего повествования – Мансуру Векилову. И еще потому, что незадолго до его ухода из жизни пообещала ему написать о его ушедшей из этого мира десять лет назад супруге и не смогла этого сделать по не зависящим от меня причинам. И вот теперь, пользуясь возможностью, постараюсь хотя бы коротко рассказать и о ней – тем более что она и Мансур, при всей их непохожести, всегда составляли единое целое. Ирада ханым любила его безоглядно, в разговорах с другими нежно называла его «мой Мансурчик», стойко защищала его интересы, принимая все его дела близко к сердцу. Помню, как она однажды возмущалась, когда на вечере памяти Сергея Есенина ведущая зачитала посвященные этому поэту стихи Мансура и не назвала автора.

Мансур же о жене при мне никогда не говорил, и можно было подумать, что он относится к ней более сдержанно. Но после ее смерти он не будет расставаться с ее фотографиями, которые будут стоять у него и дома, и в редакции. На них Ирада ханым – красивая, веселая и здоровая…

Надо сказать, что они с Мансуром были эффектной парой. Однажды мне довелось встретить их на улице, она была в длинном, по моде тех лет, черном пальто, отделанном мехом, и выглядела счастливой и довольной рядом со своим спутником. Мансур был на редкость хорош в длинном светлом пальто с поясом и в светло-серой каракулевой папахе, которая выглядела на нем удивительно уместно, хотя тогда никто в городе таких не носил. Я никогда не видела его в этом наряде ни до, ни после этого и была поражена его статью, какой-то аристократической осанкой – я в то время еще не знала о его бекских корнях, но тогда их в нем четко почувствовала. Обычно же Мансур одевался как все, стараясь не выделяться из толпы, хотя в любой одежде он обращал на себя внимание, быть может, и не столь явное, как в тот раз.

С Мансуром мы в те дни почти не виделись, лишь изредка встречаясь на каких-то литературных мероприятиях.

Дела с газетой заставят меня на какое-то время забросить занятия поэзией, и в редакцию «Литературного Азербайджана» я теперь буду приходить не так часто. Но как только у меня появлялись новые стихи, я спешила в журнал, и Мансур обычно публиковал почти все.

За годы, минувшие после нашей первой встречи, мы с Мансур-муаллимом (так я его называла), стали намного ближе – мы теперь могли говорить не только на поэтические, но и на темы вне поэзии. В частности, он нередко интересовался моими делами в газете. Я поняла, что он многое знает о тамошней ситуации от Ирады ханым.

К примеру, о том, что в редакции «Бакраба» «ставленников» Ирады ханым – Владимира Кафарова, Сиявуша Мамедзаде и меня – приняли без особой радости. «Поэты» пришли» – говорили там с усмешкой. Старожилов газеты можно было понять

– Кафаров и Мамедзаде пришли на довольно высокие посты, на которые претендовали те, кто проработал в газете много лет. Но Ираде ханым нужны были люди, которые смогут не просто отредактировать представленные материалы, но и «олитературить» их, оживить, в этом смысле выбор ее был понятен. Однако старожилы считали иначе. В ход пошли сплетни, толки, домыслы. Доставалось и мне, так как я тоже была «из их компании». Причем, мне доставалось больше, так как «сладить» со мной было проще, чем с такими корифеями, как Кафаров и Мамедзаде. В какой-то момент я даже, не выдержав, ушла из газеты, передав заявление об уходе через секретаршу Ирады ханым, а не ей лично, чтобы избежать объяснений с ней. Но Ирада ханым сделала все, чтобы я вернулась…

То, что Мансуру была известна эта ситуация, хотя я с ним никогда о ней не говорила, я поняла, когда он прочел мне по телефону строчки, которые посвятил мне:

Елизавета,
Елей Завета,
Пели про то, пели про это…
Злые наветы
Канули мимо
Елизаветы,
Богом хранимой.

Я была безмерно горда тем, что такой поэт написал что-то для меня. Он потом подарит мне листок, на котором от руки напишет эти строки. Но там уже «пели про то, пели про это» будет заменено на «пили за то, пили за это», и в этой же редакции он даст это небольшое стихотворение в одной из своих книг. Эта замена сделает смысл стихотворения не совсем ясным, но мне было понятно, почему он изменил в нем строчку…

Конечно же, Ираду ханым расстраивали все эти мутные течения в редакции. Мансур переживал за нее – ей приходится нелегко: трудно было тянуть на себе и газету, и агентство, да еще и решать бесконечные психологические проблемы в коллективе. Не знаю, повлияло ли все это на здоровье Ирады ханым, но вскоре она начала сильно болеть. Началось это где- то со второй половины 1997 года. Она лечилась в Баку, ездила на лечение в Москву. Я точно не знала, что с ней. Лишь позже мне расскажут, что у нее сколько-то лет назад была операция, связанная с онкологией, все завершилось, вроде бы, успешно, но вот теперь ситуация внезапно вновь ухудшилась. Не могу ничего утверждать, но, насколько мне известно, таким больным особенно важен эмоциональный комфорт, душевный покой для того, чтобы организм мог справиться с хворью. У Ирады ханым такого покоя не было, и потому, наверное, не было сил бороться с недугом. Она до последнего скрывала от сотрудников свою болезнь, как бы плохо ей не было, приходила на работу и делала газету, причем, газету хорошую. Кажется, в начале 1998-го ей сделали еще одну операцию – ее оперировал известный хирург в Каспаровской больнице. Помню, как я пришла навестить ее где-то через неделю. Она все еще лежала в реанимации, но держалась бодро. И говорила не о своей болезни, а о делах в редакции, пыталась заочно решить какие-то конфликты, которые там продолжались.

Вскоре после выписки она появилась на работе, как и прежде, энергичная, полная идей и замыслов. Но очень скоро ей вновь стало хуже. И теперь уже ничто ей не помогало. Ей было трудно ходить, но она, преодолевая себя, каждый день приезжала

в редакцию. Ей было трудно сидеть, и она иногда беседовала со мной, лежа на диване, стоявшем у нее в кабинете. Она похудела, пожелтела… Я в это время перечитывала книгу ее очерков, которую она мне подарила, – очерков, написанных легким пером и потому читаемых мною с интересом и удовольствием. Мне кажется, что у Ирады ханым были и немалые литературные способности, и мне было бесконечно жаль, что эта красивая, сильная, талантливая женщина задавлена страшной болезнью. Она сражалась с ней до последнего. Но все же наступил день, когда она не смогла выйти на работу, и это означало только одно – ей очень плохо Я звонила ей домой, пыталась ее поддержать, как-то спросила, можно ли ее навестить. У меня был печальный опыт общения с такими больными – они обычно не хотят видеть никого, кроме самых близких людей, а иногда – и их тоже. Но Ирада ханым неожиданно согласилась, отпросила меня с работы у заменявшего ее первого зама Владимира Морозкова и выслала за мной редакционную «Волгу». Было начало лета, стояла уже почти жаркая погода. Мы с водителем приехали в 4-й микрорайон, вышли у одного из домов и поднялись на третий этаж. Так я впервые оказалась дома у Мансура. Дверь нам открыл он сам. Мне он показался каким-то потерянным, неуверенным, будто он не знал, что делать, как быть дальше. Не было присущей ему обычно некоей вальяжности, не было света, струившегося из глаз. Мы прошли к Ираде ханым, и Мансур засобирался уходить – ему нужно было в редакцию. Ирада ханым попросила его сначала сходить в магазин – мне показалось, что ей не хочется его отпускать. Но он торопился, попросил сходить в магазин нашего водителя, а мне сказал: «Вы сможете побыть здесь, пока я буду в редакции?» «Конечно», – ответила я, и он ушел. Водитель спустился в ближайший ларек – Ираде ханым хотелось помидоров.

Надо сказать, меня удивило то, что такие известные и заслуженные люди живут в микрорайоне, а не, скажем, в центре города. Но еще больше меня удивило их жилище: весьма и весьма скромное, оно было обставлено самой обычной мебелью и явно требовало ремонта. Позже такое же впечатление на меня произведет квартира Владимира Кафарова. По всей видимости, и Мансур-муаллим, и Ирада ханым настолько были заняты работой, что до решения своих бытовых проблем у них просто не доходили руки.

Ирада ханым с интересом расспрашивала меня о делах в газете, о новых материалах, я подробно рассказала ей обо всем и передала принесенные с собой последние выпуски «Бакрабочего». Сказала, что в редакции все ждут ее возвращения (хотя, если честно, в то, что она вернется, почти никто уже не верил). Но она с уверенностью говорила о своем выздоровлении, будто хотела убедить в этом всех, и в первую очередь – себя. Мне тоже очень хотелось в это верить – глядя на нее, казалось, что так и будет. Она была, как всегда, деятельна – лежать без дела она не умела. Все время думала о газете. Попросила меня позвонить в один из отделов все еще возглавляемой ею газеты и передать ее поручение. Я набрала номер и передала все, о чем она просила. В ответ услышала (для меня это было неожиданно и поразило меня), что пусть Ирада ханым уже оставит всех в покое и думает не о делах газеты, а о вечном. Сказано это было человеком, для которого Ирада ханым сделала очень и очень много… Я сидела на стуле рядом с диваном, на котором она лежала, и очень беспокоилась, не слышала ли она что-то из сказанного на том конце провода. Наверное, я не смогла справиться с эмоциями, и она что-то прочла по моему лицу. «Что?», – спросила она. «Они все сделают», – ответила я. Она испытующе посмотрела на меня, но ничего не сказала.

Она стала говорить о том, как поправится, и тогда сделает то-то и то-то. И вдруг сказала: «Только бы выкарабкаться, только бы проскочить! В прошлый раз мне это удалось...». А потом стала звонить в больницу хирургу, который ее оперировал в последний раз. Но ей отвечали, что он подойти к телефону не может. И тогда она потребовала, чтобы я поехала в больницу и поговорила с ним. «Передай, ведь нужно же что-то делать! Пусть сделает мне еще одну операцию – я готова! Пусть делает, что хочет, но вытащит меня!» Она говорила горячо, и в голосе ее было страстное желание выжить, жить, быть…

Мы с водителем отправились в больницу. Я представилась и попросила о встрече с оперировавшим ее хирургом. Он к нам вышел. Услышав, что я по поручению Ирады Векиловой, спросил раздраженно: «Чего она еще хочет?» Я передала то, что она просила.. Хирург несколько секунд, молча, смотрел на меня. Потом спросил: «Кем вы ей приходитесь? Родственницей?» «Я – ее сотрудница», – ответила я. Тогда он сказал: «Послушайте, ни о какой операции речи идти не может. Ей уже никто не в силах помочь, понимаете, никто! Мы можем только ждать. И ждать уже недолго»… Я потрясенно молчала. Потом спросила: «Что мне сказать ей?» Он выдвинул ящик стола, достал из него баночку с лекарством. Сказал: «Хорошо, передайте ей, что я сделаю операцию. Но сейчас нельзя, нужно подготовиться. Пусть пьет эти таблетки три раза в день – это будет подготовка к операции».

«Что там?» – спросила я, кивнув на баночку с лекарством. Он ответил: «Витамины. Обычные витамины. Хуже от них не будет. Впрочем, и лучше – тоже»…

Я видела, что он расстроен, раздосадован, как всякий врач, ощущающий свое бессилие перед болезнью. Забрав лекарство и поблагодарив его, мы с водителем ушли.

Возвратившись, я отдала таблетки Ираде ханым, сказала, что хирург обещал прооперировать ее… Услышав это, она явно воспрянула духом. Я же постаралась ее отвлечь от мыслей о газете и болезни. Для начала спросила, не проголодалась ли она, хотя знала от Мансура, что она почти ничего не ест – не хочет и не может. Но она неожиданно согласилась. Попросила молодой отварной картошки. Пока картошка варилась, я помыла несколько помидоров. Было, как я уже говорила, начало лета, и это были первые не парниковые, настоящие помидоры. Оборвав у них зеленые плодоножки, я с удовольствием вдохнула свежий, терпкий аромат – я очень его любила. Боясь показаться странной, все же понесла понюхать и ей. Она посмотрела на меня с благодарностью: «Удивительный аромат! Странно, никогда не замечала»…

Она попросила присоединиться к трапезе и нас – на столе был еще очень вкусный сыр, привезенный из района. Мы с удовольствием перекусили. Ирада ханым «за компанию» тоже немного поела. И обрадовалась: «Вот, я уже ем!» Тогда я, зная, что она уже с неделю не встает, предложила: «А может, вы немного прогуляетесь по комнате?» Мы с водителем помогли ей встать и, поддерживая с двух сторон, прошлись с ней несколько раз по комнате, после чего вновь уложили ее. Глаза Ирады ханым сияли от счастья. Я вспоминала слова хирурга и не хотела им верить.

«Слушайте, а приходите ко мне каждый день!» – вдруг сказала она. Мы пообещали. Было уже около шести вечера, и она отпустила нас, сказав: «Мансур скоро придет. А я пока посплю. Не беспокойтесь». И мы уехали…

Я рассказала обо всем этом так подробно, потому что это была последняя моя встреча с Ирадой ханым. И она мне почему-то помнится до сих пор в мельчайших деталях.

И помнится пришедшее тогда понимание: перед лицом тяжелой болезни, в предчувствии конца, необычайное значение приобретают именно мелочи – те, которых мы в обычной жизни не замечаем. Запах свежей помидорной зелени, доброе слово, короткая прогулка по комнате – простые человеческие радости вдруг становятся источником, из которого хочется пить бесконечно. И, быть может, именно они, эти простые человеческие радости, и есть самое главное, ради чего стоит жить, наслаждаясь каждым днем, каждым цветком, веткой за окном, сменой времен года, солнышком, небесной просинью меж облаков…

На следующий день я не смогла приехать к Ираде ханым – меня просто не отпустили с работы, сказав, что я нужна в редакции, нужно было готовить материалы для газеты. Я с головой ушла в работу. Ираде ханым звонила пару раз, она, вроде бы, чувствовала себя сносно. На десятый день после нашей последней встречи я узнала, что Ирады ханым не стало…

Второй мой визит в квартиру Векиловых был еще более печальным – мы с сотрудниками редакции пришли проводить ее в последний путь. Ираду ханым похоронили в Аллее почетного захоронения-2 – такое указание дал лично Гейдар Алиев, который всегда ценил Ираду ханым и ее заслуги перед республикой. Она была блестящим журналистом, и он нередко брал ее с собой в официальные зарубежные поездки, из которых она привозила горячие материалы (сопровождать президента страны за рубеж и освещать его пребывание там доверялось далеко не каждому).

Для Мансура уход Ирады ханым стал большим ударом – он будто бы стал даже ниже ростом. Хотя печали своей не показывал окружающим – по принципу «не вешать свои беды на других», которому он всегда следовал.

Пройдет время, и Мансур, вроде бы, оживет, оправится. Но мне кажется, хотя боль его и поутихла, и он снова мог радоваться жизни, но свою утрату он со временем осознавал все острее. Не стало женщины, которая, как никто другой, болела за него, сопереживала ему, не раздумывая, становилась на его защиту, даже тогда, когда он бывал, быть может, не совсем прав. И – безоглядно любила его…

Вскоре он потеряет еще одну важную – главную женщину в своей жизни – свою маму. Ей будет уже за восемьдесят. Я не была с ней знакома, лишь пару раз говорила с ней по телефону и была удивлена тем, какой у нее молодой, звонкий голос… Для Мансура ее уход станет еще одним тяжелым ударом…

Но журнал Мансур не забывал. Быть может, любимая работа как раз и позволяла ему выстоять, отойти от чувства сковавшей его растерянности перед ударами судьбы.

Месяц спустя после того, как Ирады ханым не стало, вышел очередной номер «Литературного Азербайджана» (N 4-6 за 1998 год). В нем была опубликована подборка моих стихов, которую я передала в журнал еще в начале весны. Мансур увидел в разрозненных стихотворениях общую тему и, расположив их в определенном порядке, напечатал, обозначив как поэму.

В очередной мой приход в редакцию, – где-то в феврале 1999-го, – я принесла в журнал рассказ – это был мой первый рассказ, и меня очень волновало, как его оценит Мансур. Правда, рассказ уже был опубликован в газете «Неделя», и его хвалили, но Мансур – это было другое дело. Рассказ он при мне читать не стал, сказал, что ознакомится с ним позже. Рассказ мой, «Наваждение», он прочел, одобрил и опубликовал. Это была моя первая проза, опубликованная в «Литературном Азербайджане» (в N 1-3 за 1999 год).

Надо сказать, что Мансур не только удержал журнал на плаву, он наладил его регулярный выпуск – правда, пока не ежемесячный, и за опубликованные материалы платили теперь гонорары, поначалу довольно скромные, но со временем они стали вполне приличными. За рассказ я получила сумму, на которую смогла купить себе модные импортные босоножки, которые и притащила в редакцию похвастаться. Мансур их оценил, похвалил и бывший в редакции Сиявуш Мамедзаде, правда, с оговоркой, что с моим ростом можно было бы обойтись без каблуков.

В августе у Ирады ханым был день рожденья. И Земфира Шейхзаманова из русской редакции нашего радио решила сделать о ней передачу к этой дате. Я очень удивилась, когда рассказать об Ираде ханым она пригласила меня – было много людей, которые знали ее дольше и лучше. Потом я узнаю, что Шейхзамановой мою кандидатуру предложила двоюродная сестра Векиловой Земфира ханым.

Говорить об Ираде ханым мне было очень легко: она была человеком, который много для меня сделал, и вообще была женщиной достойной во всех отношениях, только, быть может, слишком доверчивой, хотя и далеко не наивной – как ни странно, оказалось, что такое совмещение возможно. Впрочем, не думаю, что это было ее недостатком: доверчивость – обычно свойство порядочных людей, которые не в состоянии представить, что кто-то может их обмануть или подвести, поскольку сами на это не способны.

На следующий день после того, как передача прозвучала по радио, Мансур позвонил мне и поблагодарил за «такой теплый рассказ об Ираде». Он был растроган и повторил мне то, о чем мне говорила и Земфира ханым: «В последние дни Ирада очень тепло говорила о тебе»…

После всех этих событий мы с Мансуром стали еще ближе, я это чувствовала – он как бы принял меня как своего, а не постороннего, чужого человека. В нашем общении мало что изменилось, но я стала постоянно ощущать доверие и тепло, идущие от него. Если мы встречались где-нибудь на литературном вечере, мы старались сесть рядом, чтобы пообщаться. Мы теперь нередко виделись в литературной гостиной Ирины Георгиевны Трофимовой. Мансур там иногда выступал, читал свои стихи, а однажды прочел «Облако в штанах» Маяковского, и я впервые услышала, как здорово он это делает. Он потом расскажет, что к Маяковскому его приобщил отец, который очень любил этого поэта. На одной из таких встреч он предложил мне перейти на «ты» и обходиться впредь без «муаллима» – я по-прежнему звала его Мансур-муаллимом. С тех пор он обращался ко мне на «ты». Мне же для этого потребовалось какое-то время, чтоб привыкнуть.

С Мансуром мы теперь общались не только по делу, но и просто дружески. Както я посвятила ему акростих, он ответил мне тем же – к сожалению, ни тот, ни другой у меня не сохранились, о чем я очень жалею. Иногда он звонил – не только для того, чтобы спросить, есть ли у меня новые стихи, но и чтобы прочесть мне что-то свое, только что написанное. Он так общался со многими авторами, был с ними на дружеской ноге. Ему чужд были всяческий официоз, он старался жить и общаться со всеми просто, на равных. В нем много было озорства, мальчишества, иногда это проявлялось в каких-то неожиданных поступках. Однажды после окончания рабочего дня мы с ним вышли из редакции журнала вместе и через Губернаторский сад направились к площади «Азнефть» – там была автобусная остановка, где останавливались и мой, и его автобусы. Был вечер, теплый, майский, уже немного смеркалось. В саду на клумбе распустились белые конусы душистого табака.

– Посмотри, какие чудесные цветы. Говорят, они распускаются только к вечеру, когда все остальные цветы засыпают… И они чудесно пахнут, – сказала я.

Не успела я договорить, как Мансур, на глазах у прохожих, которых было много в саду, шагнул прямо в клумбу и, сорвав один из цветков, протянул мне. Мне было приятно, хотя и немного неловко: на нас смотрели, да могли и сделать замечание. Но Мансур был очень доволен, у него озорно блестели глаза.

– Тебе нравится иногда так вот похулиганить? – поблагодарив за его рыцарский порыв, спросила я.

– Очень, – ответил он с улыбкой. И рассказал, как однажды он, направляясь с одним из своих близких друзей к нему домой, а друг жил в доме возле фуникулера, в таком же вот порыве вдруг шагнул в фонтан со скульптурой, изображающей героя поэмы Низами «Семь Красавиц» Бахрам Гура, отрубающего голову дракону. Друг шагнул следом. Искупавшись, они, два взрослых товарища, совершенно мокрые, выбрались из фонтана и, очень довольные, отправились к другу домой сушиться, чем очень шокировали маму приятеля Мансура…

Наступило лето. Приближалась годовщина со дня смерти Ирады ханым. После похорон я была у нее на могиле лишь однажды – на сорок дней, вместе с сотрудниками газеты. Мне очень хотелось побывать там на годовщину. Но в газете я попутчиков не нашла, а идти сама не рискнула – я всегда плохо ориентировалась на местности и боялась не найти нужную мне могилу. И тогда я позвонила Мансуру. И попросила его, если он будет идти на кладбище, взять меня с собой.

– Ты, наверное, придешь с родственниками, – сказала я. – Поэтому, если мое присутствие там будет не совсем уместно, скажи мне сразу.

Но он ответил:

– Я буду один. И ты можешь пойти со мной.

Договорились встретиться в день годовщины у издательства, где находилась наша газета, и откуда недалеко было до кладбища. Я беспокоилась, что Мансур не сможет прийти. Но когда в назначенное время спустилась вниз, увидела его. И мы, купив цветы, отправились к Ираде ханым. Могила уже была затянута в гранит, стоял памятник. Мы, молча, с грустью постояли у могилы, думая каждый о своем. Потом покинули это печальное место. Мне запомнилось, что мы выбрели к Ботаническому саду, вошли в него, побродили по его аллеям, – неухоженным, заросшим травой, – между реликтовых деревьев, выбрались из сада с противоположной от официального входа стороны, для чего нам пришлось перебраться через полуразрушенный каменный забор – довольно высокий, но мы его преодолели. Всю дорогу беседовали о стихах, об общих знакомых, о различных жизненных ситуациях. Ни Мансур, ни я обычно не обсуждали обстоятельств личной жизни – его ли, моей ли, наших ли общих знакомых, нам больше интересны были отвлеченные темы и события, во взглядах на которые мы обнаруживали много общего. Об этих самых обстоятельствах личной жизни друг друга мы узнавали совсем не специально, от сторонних людей – желающих посплетничать всегда было много вокруг. Меня всегда покоряли деликатность Мансура, его такт, уважение к другим людям, к их чувствам, его сдержанность...

Вспоминается еще один наш совместный «вояж». Как-то в разговоре я упомянула бакинский зоопарк, сказала, что давно не была там. И Мансур вдруг сказал: «А давай туда сходим!» И в летний солнечный день мы отправились в зоопарк. Запаслись на входе сладкими булками и двинулись к вольерам с животными. Первыми на нашем пути оказались, помнится, змеи – удав, гюрза, полоз, в общем, всякие пре-

смыкающиеся, был там даже небольшой крокодил, лежавший настолько неподвижно, что мы поначалу приняли его за кусок старого дерева. Мансур внимательно наблюдал за всеми этими, не очень симпатичными, представителями фауны. Потом мы долго стояли у клеток с обезьянами.

– У змей и обезьян много общего с людьми, – сказал Мансур задумчиво. – У остальных животных сходства гораздо меньше.

Как я поняла, симпатии ни те, ни другие у него не вызвали. Увидев, что я собираюсь бросить кусок булки мартышке, он сказал:

– Не давай им ничего!

И мы отправились скармливать булки джейранам…

В октябре 1999 года Союз писателей и Центр культуры славян Азербайджана проводили творческий конкурс, посвященный двухсотлетию со дня рождения А. С. Пушкина. Я представила туда стихотворение и стала лауреатом. Если не ошибаюсь, тогда же Мансуру была вручена памятная пушкинская медаль – такие в республике получили всего пять человек: Анар, Фархад Халилов, Фархад Бадалбейли и кто-то еще. Мансур был очень горд этим – я узнаю об этом от Инессы Ловковой, близкой ему женщины.

Наступил двухтысячный год, новый век. В начале года я отнесла Мансуру новые стихи, и вскоре они появились в журнале. Я вовсе не хочу сказать, что Мансур всегда принимал «на ура» все, что я приносила. Бывало, что он выбраковывал какое-то из стихотворений. Править он меня, правда, не правил, но порой сокращал одну-две строфы, говоря, что я не всегда умею остановиться, где нужно, и продолжаю разглагольствовать. Однажды, когда он из принесенной мною подборки отложил в сторону несколько стихотворений, сказав, что их он печатать не будет, я отважилась сказать (хотя обычно никаких комментариев по поводу его решений не давала):

– Почему ты не хочешь это публиковать? Разве это так уж плохо? Многие пишут так и даже хуже, и ты публикуешь их.

Мансур ответил:

– У каждого есть свой уровень, свой потолок, свой предел возможностей. Твой поэтический уровень позволяет тебе писать лучше. Вот и пиши лучше, нечего халтурить!

Меня это нисколько не обидело, напротив, я восприняла это как похвалу, но стало для меня хорошим уроком.

Вообще, мягкий и пушистый Мансур мог становиться и достаточно жестким, если речь шла о халтуре.

– Одно дело, когда человек не может писать хорошо, ему простительно, – говорил он. – Но когда тот, кто умеет, кому дано от Бога, халтурит, пишет, как придется, публикует все, что попало, – этого я понять не могу. Зачем так себя ронять?

Я старалась очень тщательно отбирать стихи, которые собиралась отнести Мансуру, придирчиво перечитывая каждое и выбирая лишь то, что мне казалось стоящим. Но самому не всегда удается дать верную оценку написанному тобой. Случалось, что Мансур браковал то, что мне казалось вполне сносным. А бывало и так, что стихи, по поводу которых у меня бывали большие сомнения, он принимал, они ему нравились. Я знала, что со стороны всегда виднее, кроме того, я доверяла его поэтическому вкусу и всегда с благодарностью принимала любое его решение и мнение. Очередную стихотворную подборку, которую я принесла в журнал, Мансур одобрил и напечатал полностью. Она появилась в журнале №1-3 за двухтысячный год.

В этом же, 2000-м, году произойдет очень грустное для меня событие – уйдет из жизни Владимир Кафаров, который тоже сыграл очень большую роль в моей творческой биографии и вообще в моей жизни…

2002 год принесет свои радости: Мансур посвятит мне еще одно небольшое, но очень дорогое для меня стихотворение – он напишет его от руки на обратной стороне обложки журнала «Литературный Азербайджан» за апрель 2002 года:

Не забываю я об «эл» и «ка»,
Когда она бывает далека.
Но даже больше я бы мог сказать:
Она всегда со мной, как буква «ять».

А летом того же года у меня будет юбилей – 50 лет. В редакции «Бакинского рабочего» его отметят официально – главный редактор, Заур Кадымбеков, – еще один важный в моей жизни человек, требующий отдельного рассказа о нем, который, я надеюсь, когда-нибудь будет написан, – соберет коллектив в своем кабинете и поздравит меня, вручив Почетную грамоту имени Зардаби, адрес и букет цветов. А после работы, уже в моем кабинете, пройдет неофициальная часть, с шампанским и пирожными, в которой примет участие узкий круг из числа моих коллег. Я попрошу прийти и Мансура, если он сможет. Он придет с Инессой Ловковой. Я слышала о ней, но видела впервые. Они поздравили меня и подарили большую морскую раковину, внутренняя поверхность которой была выстлана оранжево-розовым перламутром. Если приложить к ней ухо, можно услышать море, которое шумит в ней до сих пор…

И еще – выйдет в свет сборник моих стихотворений. Такой подарок к моему юбилею подготовит моя дочь. Дело в том, что я, в смысле популяризации и «увековечивания» своих произведений, – человек, тяжелый на подъем и даже можно сказать – ленивый. Первую мою книжку – сборник документальных очерков о шехидах Гарабаха – издал Центр культуры славян, взяв на себя полностью и материальную, и организационную стороны. И вот теперь вторую мою книгу издала дочь. К стыду своему, я не принимала в этом никакого участия – отбор стихотворений, компоновка их по тематике, расположение в сборнике, редактирование, оформление обложки, материальная сторона и т.д., все – благодаря усилиям дочки, сделавшей мне такой замечательный подарок.

Еще одним подарком стала аннотация к сборнику, написанная Мансуром Векиловым – очень лестная для меня. Позволю себе привести ее полностью:

«Елизавета Касумова – очень искренний человек. Это ее несомненное достоинство и в то же время слабость, потому что искренние люди, как правило, беззащитны. Но удивительно – беззащитность порой оборачивается щитом неуязвимости. Для Елизаветы Касумовой таким щитом является ее поэзия, помогающая ей отражать стрелы невежественной агрессии, слепого непонимания и отчуждения. К своему 50-летию она, по профессии юрист, известный в республике журналист, создала книгу стихов «Без грима». Эта книга, я уверен, достойна того, чтобы ее прочли понимающие люди. Мансур Векилов».

Вот сколько замечательных подарков принес мне 2002-ой год! Следующий я получила в 2006 году – вышел новый стихотворений сборник Мансура «Море мое», изданный на пяти языках – русском, азербайджанском (переводы Фикрета Годжи и Чингиза Алиоглу), английском (переводы Тамары Верескуновой), французском (переводы Ульвии Ахундовой) и немецком (переводы Алигасана Ширванлы), с замеча-

тельными иллюстрациями. Мансур подарил мне его с трогательной надписью:

«Лизонька (так он меня обычно называл), от сиреневой (голубой, он перепутал) книжицы, которую ты в свое время приобрела, до этой – целая жизнь, и в ней всегда есть место для тебя. Мансур. 4.VI.06»…

В последние годы Масур много болел – были проблемы со зрением, ему сделали операцию, но что-то пошло не так, появились проблемы с прооперированным глазом. Начало сдавать сердце, он попал в больницу. Его сестра, известный бакинский врач – кардиолог Наиля-ханым, тогда с трудом подняла его на ноги. Но Мансур не умел и не хотел болеть, не хотел лечиться, не берег себя. Мне иногда казалось, что он больше не дорожит жизнью, готов уйти. Он не хотел жить больным, ограничивать себя в чем-то – ему так было неинтересно, скучно… он словно подводил итоги. После довольно длительного перерыва один за другим вышли в свет сразу несколько его стихотворных сборников – миниатюрная книжка стихов, книга на пяти языках – «Море мое», и последняя, самая объемная, как бы итоговая – «Стихи разных лет и столетий». Эту книжку он подарил мне с надписью: «Дорогой Елизавете посвящаю строки эти». Эту книжку он подарил и моей дочери Элине, с которой я в свое время познакомила его на одном из литературных мероприятий, и к которой он всегда очень по-доброму относился. В подаренной ей книжке он написал: «Милой девочке Элине моя жизнь, как на картине». Он щедр был на теплые слова и многим надписывал свои книжки – зачастую в стихах, которые складывал мгновенно и щедро раздаривал. Все это было в 2007-м…

А потом наступил 2008 год – последний год его жизни. Наверное, здоровье его подводило все больше – он уже почти не бывал в редакции, работал дома, куда переместился его рабочий кабинет. Сюда ему приносили авторские материалы, здесь он правил верстку, сюда приходили авторы. Несколько раз он звонил мне, просил прийти, принести новые стихи, просто посидеть, поболтать. По нему не было видно, что он болеет – он держался, как обычно, шутил, иронизировал. Правда, я видела, что ему трудно читать, предложила вычитать что-то из верстки, иногда он мне давал что-то отредактировать...

Он успел отметить свой последний день рождения – в сентябре ему исполнилось 69. Его 70-летие мы отмечали уже без него…

Наша с ним последняя встреча – встреча-расставание – произошла за 10 дней до его ухода из жизни, который, несмотря на то, что он болел, оказался внезапным, известие о его смерти – во всяком случае, для меня, – прозвучало, как гром среди ясного неба…

Я не сильна в нумерологии, но удивительно: и Ираду ханым, и Мансура мне довелось в последний раз увидеть за десять дней до ее и до его ухода. И еще – Мансур ушел из жизни ровно через десять лет после ухода Ирады ханым. В нынешнем году – десятая годовщина со дня смерти Мансура, и двадцатая – со дня смерти Ирады ханым…

За день до нашей последней встречи я позвонила ему, спросила, как он, как здоровье. Мансур, как всегда, ответил: «Нормально». Спросил, есть ли новые стихи. Узнав, что есть, сказал:

– Приноси. Приходи ко мне завтра, к 11 утра. Обязательно…

Утром следующего дня вовсю лил дождь. Особой срочности со стихами не было, и я, было, решила попросить Мансура перенести нашу встречу на другой раз. Но что-то – быть может, его слова «приходи обязательно» – заставило меня вооружиться

зонтом и под проливным дождем потопать на остановку автобуса. Когда шла к его дому в 4-м микрорайоне, дождь был уже не таким сильным.

Он встретил меня, как всегда, с улыбкой. Прочел принесенные мной стихи, сказал, что поставит в очередной номер, который сейчас готовит (в этом номере – последнем, подготовленном Мансуром, действительно будут мои стихи, но номера этого сам Мансур не увидит – он выйдет, когда его уже не будет с нами)…

Потом мы долго будем о чем-то говорить – о журнале, об авторах. Он будет что-то вспоминать из своей жизни… Будет усердно угощать – выложит на стол торт, колбасу, сыр, фрукты… Мне почему-то не хотелось есть – быть может, потому, что сам он ничего не ел… Я просижу у него почти весь день. Собравшись уходить, выгляну в окно – дождя уже не будет.

– Ты, наверное, почти не выходишь из дома, – скажу я ему. – Тебе нужно больше бывать на воздухе. Давай выйдем вместе, походим.

Он неожиданно согласится. И мы спустимся с ним во двор. Свежий воздух будет чуть горчить, пахнуть осенью. Мы медленно бродили по уютным зеленым дворам вокруг его дома, любуясь зелено-желтой гаммой омытой дождем листвы.

– Вот это – наш детский сад, – скажет он. – Сюда я водил своих детей. Очень хороший детский сад был. Представляешь, до сих пор существует – столько лет прошло…

Из-за заборчика чьего-то палисадника будут выглядывать желтые, похожие на большие ромашки цветы. Он сорвет один из цветков, протянет мне… Позже, когда уже все случится, вспоминая эту нашу встречу, ставшую последней, я вздрогну от пронзившей меня мысли: желтые цветы – к разлуке…

Уже начнет смеркаться, и я тороплюсь домой. Да и Мансур устал – я видела, что ему тяжело идти, хотя он и старается не показать это.

– Давай я провожу тебя до дома и пойду, – сказала я.

– Нет, давай я провожу тебя до остановки…

Мы стояли на асфальтовой площадке примерно посередине между его домом и остановкой автобуса. Договорились расстаться прямо там, чтоб никто никого не провожал.

– Приходи ко мне в среду, – сказал Мансур. – У меня будут Саша Хакимов и Яна Кандова.

– Неудобно, – ответила я, – мы с ними не знакомы.

– Ты придешь ко мне, а не к ним, – сказал Мансур. – Приходи.

Я пообещала, но так и не пришла, о чем до сих пор очень жалею: с Сашей Хакимовым, бакинским писателем – фантастом, я познакомлюсь позже, а с Яной Кандовой, молодой, талантливой поэтессой так и не смогу познакомиться – она уйдет из жизни вслед за Мансуром. А главное, приди я на эту встречу, я увиделась бы с Мансуром еще раз…

Расставаясь, мы почему-то обнялись, чего обычно не делали. Я взглянула на его бледное, усталое лицо, и острое чувство жалости пронзило меня.

– Очень тебя прошу, береги себя, – сказали я. – Пообещай, что будешь себя беречь!

– Обещаю, – сказал он, грустно улыбнувшись. – Ну, иди…

Отойдя на несколько шагов, я обернулась. Мансур стоял и смотрел мне вслед…

Через десять дней мне позвонят и скажут, что Мансур умер. Все эти дни я думала, как он там один – Инесса уехала к дочери в другой город.

Он дождется ее возвращения и умрет…

Я плохо помню, как тряслась в автобусе, как затем торопливо шагала к его дому – от той самой остановки, через ту самую площадку, на которой мы попрощались, к тому дому, вокруг которого совсем недавно бродили по вымытым дождем улицам…Подходя к дому, увидела сидевшую на каменном барьерчике Инессу. Не сговариваясь, мы бросились друг к другу и разрыдались…

Потом мы сидели в комнате, в которой десять дней назад он угощал меня тортом. Стол, обычно стоявший у стены, теперь был выдвинут на середину комнаты, и на нем, завернутый в ковер, лежал он… то, что еще было им… его оболочка, тело. Сам же он был уже не здесь – душа его покинула нас…

После смерти Мансура, год за годом, незаметно пролетело десять лет. Все эти годы, 7 сентября и 21 октября, – дни его рождения и смерти – мы, его коллеги по редакции, приходим к нему. К нему – это теперь здесь, на кладбище. Он покоится тут среди своих родных – деда, отца, брата… Со скромного памятника черного гранита он смотрит на нас с доброй усмешкой, как бы говоря: «Пришли? Ну, как вы там?» Мы стоим и говорим о самых разных вещах, и меня не покидает ощущение, что и он участвует в нашей беседе – слушает, о чем мы говорим, переводя взгляд с одного на другого и улыбаясь каждому из нас…

Стихи в последнее время я пишу редко и мало, больше прозу. Не знаю, почему. Но иногда стихи все же случаются. И всякий раз мне хочется показать их Мансуру, посмотреть, какие из них он отложит в сторону, а про какие скажет: «Это я, пожалуй, опубликую». И так хотелось бы с ним просто поговорить – о жизни, о поэзии, о прошлом, настоящем, о будущем. Но Мансура нет рядом… И я говорю с ним мысленно, часто – стихами.

«Когда погибнут все мечты…»

Твои последние стихи
Такие грустные,
Будто средь жизненных стихий
Жить стало пусто, тускло –
Средь людей толстокожих,
Чьи сердца заморожены,
И не слышат чужую боль,
Не умеют дарить любовь,
Тех, что, вроде, и рядом с тобой, –
Прикоснуться можно рукой, –
А на деле – так далеко.
Докричаться до них нелегко…
Столько всех вокруг. Но, однако,
Ты один, словно в полном вакууме.
И ты пишешь стихи про то,
Как люди, по примеру китов,
Бросающихся на берег,
Утратив в лучшее веру,
Разучившись плыть и любить, –
Решают уйти, не быть…

Как живу?...

Как живу? Плыву по течению,
Выслушиваю чьи-то мнения,
Своих – не озвучиваю,
Убедилась: так – лучше.
До хрипоты не спорю,
Чужому голосу вторю,
От себя – отрекаюсь.
Не перекаюсь.
Не «возникаю»...
В чужие игры играю,
По нотам чужим пою,
Советы легко раздаю,
Но не настаиваю,
Чтоб к ним прислушивались.
Для меня главное –
Не лезьте в душу!
Житейская мудрость –
Жить скупо и нудно:
Не встревать,
Не лезть в облака,
Все равно не залезешь...
Всему обучают
В житейском ликбезе:
Помалкивай в тряпочку,
Для всех будешь лапочка,
Стой в сторонке,
Ходи тихонько –
Словом, свети
Словно тусклая лампочка,
И жизнь пойдет гладко и плавно,
И жить будешь сытно и славно...

Все верно. Но почему-то
Так тосклива «житейская мудрость».

Вспоминая украинскую деревню.

Шумят деревья-великаны,
Листвою плещут на ветру,
И суматошно, окаянно
Петух горланит поутру.
Проснешься – спит еще деревня
В рассветной серой пелене,
И спит трава, уткнувшись в землю,
Горшки коричневые дремлют
На сером низеньком плетне.
Тропинкой, узкой невозможно,
Стараясь мимо не ступить,
Я зашагаю осторожно,
Чтобы траву не разбудить.

Увяжется за мною ветер –
Услужливый веселый бес,
И пес Мурзайка будет третьим...

Здесь все родное и – чужое,
Здесь все забыто и – во мне:
Река, что синею вожжою
Бежит куда-то в тишине,
Вскрик поезда за лесом дальним,
И сад в осеннем неглиже,
И мокрый луг... И так печально
И тихо будет на душе.

Строчка из детства

Помню строчку из детства,
Быстрый кадр из былого,
Было так: я бежала
Среди солнечных бликов,
Две косички нещадно
По спине колотили,
Я бежала за солнцем,
И верила твердо,
Что успею ладонью
До него дотянуться
В миг, когда оно сядет
За черту горизонта...
Я теперь вспоминаю
С легкой грустью об этом –
Да, теперь я познала
Много истин. Но все же
Не хватает мне светлой
Веры в солнца доступность –
Мне так хочется снова
К горизонту бежать!

Бессильны мы...

Конец любви – неизлечимая болезнь,
Здесь никакое чудо не поможет,
Она умрет... Ну, хоть на стенку лезь,
Бессильны мы. Мы ничего не можем.

Чтобы могла она еще пожить,
Привязанностью доброй, чувством долга,
Ее уход мы можем отложить...
Но только это – тоже ненадолго.

И пусть следы ее еще свежи,
Нам никуда от этого не деться:
Любви остановившееся сердце
Листом увядшим в лужице лежит...

АЛИНА ТАЛЫБОВА

Музыка на обочине февраля

Мансуру ВЕКИЛОВУ

На окраине серой зимы городской,
что, как молью, подточена скорой весной,
где невнятный пейзаж эстакадой горбат,
шаткий стульчик складной
городит музыкант.
Грустный, как пеликан,
словно вешалка, тощ,
каждый день, невзирая на ветер и дождь,
он подтянет ремень,
тронет клавишу он –
и вздохнет, словно женщина,
аккордеон.

Лист слетит на плечо ему как ангелок,
жмется термос,
как верная шавка, у ног.
И – новый взлет обожженных мелодией рук...
(А о славе ему и вздохнуть недосуг).

Рядом, в рыбном, торгуют духами,
и рыб
потрясает «Шанели»
парижский надрыв.
Рядом – «Ярмарка», «Мебель»,
«Exchange», «Шаурма»...
Светофоры от пробок съезжают с ума.
У метро из ноздрей поднимается пар.
И монетки, как слезы,
роняя в футляр,
все спешит и спешит мимо разный народ.
И нет дороги назад,
ну, а только вперед.

В блеклом небе поэты парят косяком,
утешаясь веселым
шашлычным дымком...
(Что ж, на то и поэты, чтоб, мимо летя,
утешаться лишь дымом земного бытья).

...Он играет, играет назло февралю:
он играет про то,
что я тоже умру –
Как и он, музыкант,
как вот этот бутуз...
Он играет для стайки вельветовых муз,
Он играет, играет про это и то,
Про февраль в долгополом
белесом пальто,
В чьих карманах – сквозняк,
и про город, что горд,
Но сегодня звучит
как фальшивый аккорд...

Вот вам денежка, мой музыкант,
вот – еще...
Вот вам вечность-другая
(а время – не в счет).
Так играйте назло февралям,
королям,
Черным магам, барышникам
и главарям
Криминала –
играйте до судорги рук!..
В том числе и про то,
что я тоже умру,
Наигравшись с судьбою
в «пора - не пора»,
Послезавтра –
сегодня – а может, вчера.

...А потом новый век коротать на земле,
Так же клянча на ноты,
и перья,
и хлеб,
Так же вдовствуя, мёрзня, горя и творя.
И снова встретимся мы на углу февраля:
Тот же стульчик складной,
тот же термос у ног,
Тот же город, что схож с ним своей сединой –
Музыкант все играет...
И звездный февраль
Горсть снежинок швыряет в истертый футляр...

2008-2018

ФИКРЕТ ГОДЖА

ЛЮДИ ЯСНОГО МИРА

Повесть

Перевод Тамары Калякиной

Вечерело. Ильяс киши сидел на обочине дороги спиной к заходящему солнцу. Он словно нарочно сел так: «Уходишь, иди, а я сам по себе, мне в другую сторону...» Брехали собаки, блеяли овцы, мычали коровы... К Ильясу эти звуки отношения не имели – скотина провожала солнце. В нескольких шагах от старика похрустывал травой гнедой конь. Ильяс киши прислушался и жесткой, как доска, ладонью погладил шелковистую траву. «Ишь, хрупает, прямо завидки берут – хоть пасись вместе с ним!» Он обернулся, окинул взглядом коня. Гнедой, видно, почувствовал – поднял голову, посмотрел на хозяина, фыркнул ...

– Пойдем, милый, пора! – Ильяс киши поднялся с земли. – Невестка дома одна, боится, небось... Пошли!..

Высокий, прямой, Ильяс киши легко шагал по дороге. Со стороны поглядеть – молодой мужчина, а ведь перевалило уже за восемьдесят. Из ровесников один Селим остался, только его на улице не увидишь, весь день сиднем сидит. С виду-то он еще ничего, да приступы какие-то начались – чуть погода похуже, удушье мучает...

Домой Ильясу киши идти не хотелось. Будь такая возможность, до утра бродил бы с гнедым где-нибудь тут, в округе. «Смотрю, коняга, состарились мы с тобой... И мне никакой цены, и ты никому не нужен – машины у всех... Насчет меня-то не сомневайся, я тебя ни на какую машину не сменяю. Да и дорога у меня впереди короткая...»

Заложив руки за спину, Ильяс киши неторопливо отмеривал шаги. Время от времени гнедой убыстрял ход и, подойдя совсем близко, тянулся мордой к ладони хозяина. Но коснуться её не хватало смелости.

У ворот Ильяс киши громко кашлянул, фыркнул гнедой. На втором этаже, в комнатах и на эйване, горел свет. У Ильяса смолоду была привычка – куда бы он ни пришел, мгновенно охватить все взглядом: дом, хлев, двор – каждый уголок, даже то, что за спиной, сзади. И сейчас, кашлянув у калитки, Ильяс киши успел заметить, что на верхнем эйване сидит Иси – сват. Рядом – невестка. Чай пьют отец с дочкой.

Заслышав свекра, невестка шмыгнула вниз. Ильяс сделал вид, что не заметил. Отвернулся к коню, погладил, шлепнул по крупу. «А ну, топай к себе!» Гнедой повернул к стойлу, а старик неспеша стал подниматься наверх.

– О-о! У нас гость!.. Здравствуй, Иси! Как делишки?

– Спасибо, Ильяс, все в порядке. – Гость встал, встречая хозяина. – Вот навестить пришел, думаю – тоскуешь один...

– И хорошо, что пришел. Да ты сиди, сиди! – Он опустился на один из тюфячков, подстроив под локоть подушки. – А насчет тоски, что ж... Не первый день на свете живу: всякое испытать довелось. И одиночество не впервой...

Так-то оно так, но весь день старик не находил себе места. Весь день мысленно говорил то с покойницей-женой, то с сыном. «Вот, сынок, дело-то какое: отправили твоего мальчика в армию. Сам послал – пускай, думаю, научится винтовку в руках держать. Нужно это, сам понимаешь, кто знает, как дело обернется... Прошлая война – она у меня до сих пор в печенках сидит. Ушли несмышленыши – чуть не каждый второй там остался... Ты-то хоть и вернулся, да осколок принес под сердцем. Все равно – считай, на войне погиб. ... Так уж пусть теперешние хорошо военную науку знают. Мало ли что...

Иси сказал старику неправду. Возвращаясь с поля, он приметил у реки темный силуэт Ильяса, и ему стало не по себе – дело к вечеру, темнеет, а дочка одна в таком домище... Он на минутку зашел домой, сказал, что пойдет проведать Ильяса – внука отправил в армию, скучает. Даже и чай пить не сел, там, дескать, чаевничать буду. Шел и ругал себя на чем свет стоит. Куда спешил, зачем дочку выдали – только-только десятилетку закончила? Учиться думала.. Не поймешь их, нынешних – у каждой любимый есть. А не любит, хоть в лепешку перед ней разбейся – не пойдет замуж, и все. «Ну вот и сиди, жди своего любимого! Хоть помри с тоски, утешать не буду!» Думал-то он так, но ноги, видно, не подозревали о его мыслях, с такой быстротой несли Иси к дочке, что и с соседом он поздоровался, можно сказать, на бегу.

– Куда это ты так, Иси? Случилось что?

– Нет. Ничего... Корова. Чтоб ей сдохнуть, забрела куда-то! – и, боясь, что сосед продолжит расспросы, быстро зашагал дальше.

... И вот они сидят и молчат. Внизу позвякивает посуда. Вокруг лампочки вьются мотыльки. То один, то другой, опалив крылышки, падает на пол.

Иси поглядел на мотыльков.

– Этот год по краям полей костры ночью будут раскладывать.

– Это зачем же?

– Да совка проклятая одолела! Полетит, небось, на огонь-то. Хоть сколько, да сгорит..

Дядя Ильяс поглядел, покачал головой.

– Эти букашки, дай им волю, все пожрут... – обернулся в ту сторону, откуда доносился звон посуды. – Ну, детка, что у тебя там есть пожевать? – жену внука старик ласково называл «детка».

– Довга, дедушка! Сейчас принесу. Подогрею только.

Ильяс киши молча кивнул – ладно.

– Гляжу я на тебя, Ильяс... – Иси вздохнул. – Какой-то ты не такой. Вроде не от мира сего. Люди вон из кожи лезут, чтобы сыновей оставить при себе, а ты своего парня сам в армию отправил. Ведь льгота же у него...

– Я хочу, чтобы мой мальчик стал мужчиной!

Иси махнул рукой.

– Я тебе так скажу, Ильяс...

Вошла Гюльзар с кувшином и тазом в руках. Поставила таз перед стариком. Тот знаком показал: сначала гость.

– Отец уже помыл руки.

Ильяс киши засучил рукава, ополоснул лицо. Оно у него было темное, чуть отдающее в красноту. Прозрачные капли скользили по бороздам морщин, как по стеклу...

– Ноги помыть, дедушка?

– Не надо, детка... – Ильяс киши утер лицо, протянул невестке полотенце. – Унеси!

Когда невестка ушла, Ильяс киши обернулся к гостю.

–Да? – сказал он. Это «да» означало «продолжай, я слушаю», – разговор был прерван на полуслове.

– Я про то, что теперь мужчина-не мужчина другой меркой мерят. При должности – значит, мужчина!.. Вот новый председатель, из Гарадаглы он... Так на людей орет!.. Уж я Бога молю, чтоб не задел как-нибудь – потому что не стерплю. Третьего дня сидим в правлении, вдруг слышу, молодые шепчутся: «Тише, киши пришел! Киши идет!..» Это они про председателя. А сидят-то: и стариков полно, и мужики в годах, выходит, те так себе, один председатель – киши!..

Ильяс киши усмехнулся, покачал головой.

– А выгонят из председателей – уже не мужчина будет?..

– Выходит, так...

Гюльзар принесла ужин.

***

Давно уже наступила ночь. Гюльзар не спала. Она с головой укрылась одеялом, виднелся лишь кончик носа да огромные черные глаза, устремленные на горящую лампочку. Электрический свет падал в комнату через окно, и на полу, и на стене, на одеяле Гюльзар лежала тень от оконной решетки...

Еще вчера Шахин был вот тут, рядом. До утра не спали, все говорили, говорили. Обо всем и ни о чем. Она не плакала. И утром, провожая его, не пролила ни слезинки.

А как пришла домой, легла, и ничего уже не могла с собой поделать. В горле стоял комок, давило в груди. Она не всхлипывала, а слезы текли и текли. Пролежала до полудня. Потом поднялась, умылась, пошла в огород – нарвать травок для довги. Подошла к грядке рейхана, опять комок в горле – Шахин так любил рейхан. Очень долго он вместо роз приносил ей пучочки рейхана. Она не хотела плакать, не хотела, но от аромата рейхана сами собой задергались губы, слезы навернулись на глаза. Гюльзар села и, широко раскрыв рот, несколько раз вздохнула поглубже... Хорошо, что дедушка ушел на весь день. Когда он вернулся, Гюльзар уже успокоилась...

Они выросли вместе. Отец Шахина умер, когда мальчику шел четвертый год. А спустя год и мать оставила его. Исчезла куда-то, когда собирали хлопок. Скоро стало известно, что невестка Ильяса-киши убежала с парнем из соседней деревни. Куда они скрылись – известно не было, ясно было одно – от страха перед Ильясом киши беглецы не решаться обосноваться поблизости. Ильяс не простит такого – каждый уголок обыщет, а найдет беглецов, не пощадит – о его подвигах, о меткости его пуль и неукротимой смелости в сраженьях с гачагами ходили легенды. Еще и теперь, стоило дяде Ильясу нахмурить брови, все сразу затихали, настораживались. Да, все тогда были уверены: быть беде. Но дядя Ильяс поразил людей. Селиму, отцу сбежавшей невестки, он сказал всего несколько слов: «Сын умер. А невестка?.. Чего ей одной в моем доме век вековать?.. Случилось, значит, случилось. Значит, и это суждено пережить. Переживем...»

После этого случая дядю Ильяса стали уважать еще больше. Вот тогда-то Иси и Ниса уговорили Ильяса отдать им мальчика. Ильяс в то время заведовал фермой,

весь день был в отлучке, а ребенку присмотр нужен: и арык рядом, и змеи, и то, и се... Каждый вечер Ильяс забирал внука домой, а утром снова отводил его в дом Иси.

Иси женился поздно. У него было три брата – все старше него. Самый старший перед войной только окончил школу, двое учились в Баку. Иси жил с матерью, работал в колхозе. Старший брат обещал и его отправить учиться, но началась война. Братьев забрали в армию сразу. Когда призвали Иси, тот явился к Ильясу. Посидели, выпили чаю. Провожая парня, Ильяс киши сказал: «За своих не тревожься. Как все, так и они. Выдюжим. А насчет войны такой мне тебе наказ: держись крепче, цельсяметче!..» И ушел. Вернулся, когда кончилась война.

Иси ушел. Матери уже не было – как получила похоронку на старшего, сразу и померла. Два других брата пропали без вести. Иси ждал их пять лет. Только потом женился. Гюльзар была у них с Нисой первым ребенком.

***

Ночь кончалась.

– Шахин... Пиши почаще, хорошо?.. Главное – не простудись!.. Не знаешь, как служба считается – со дня призыва?..

– Не знаю. Я напишу...

Помолчали. Гюльзар повторила себе: «Не буду плакать! Ни за что не заплачу! Пускай сердце лопнет – не заплачу!..»

– Говорят, русские девушки красивые...

– Не болтай!..

– Да я так... Но ты помни: станешь на них засматриваться, узнаю! Во сне увижу!

– Сказано, не глупи... Будешь тут дурью маяться?! Первый день меня знаешь?

– Ой, Шахин, сама не знаю, что болтаю!..

– Мы же с тобой ведь договорились. Ты знала: поженимся – через месяц мне в армию. Отслужу, потом, если дедушка отпустит, вместе поедем учиться. Договаривались?

– Конечно... Это я так... Не обращай внимания, пройдет...

Была ночь, и свет лампы., горевшей на айване, скользил по одеялу Гюльзар, по ее волосам, по лицу... Но теперь глаза были закрыты, лишь трепетали во сне длинные ресницы. Она видела: мчится поезд. Мчится. Мчится куда-то... А у окошка они: Шахин и Гюльзар...

И дядя Ильяс видел сон. Видел, будто вернулась молодость...

Гнедой тоже спал, и сладки были его видения: он, длинноногий стригунок, забрался в молодую, только что поднявшуюся пшеницу.

Не спали лишь лампочки: одна горела на верхнем эйване, другая в саду, подвешенная на айвовой ветке...

***

С утра Ильяс киши испытывал какое-то непонятное чувство. Вроде бы, виноват он перед невесткой, неловко ему, все хочется оправдаться перед нею.

«Всех парней – в армию, – бормотал Ильяс киши, взмахивая топором, – а наш что – не парень?.. Льготу какую-то придумали!.. Дескать, стар стал Ильяс – одному не справиться. Дожил!.. Не зря говорят: ослу и верблюжья шкура – ноша. Нашли,

кого жалеть!.. Да будь моя воля, я бы и на кладбище своими ногами ушел, лишь бы быть людям не в тягость!..»

Дядя Ильяс поправлял забор и все ворчал: досталось и военкому, и Шахину, и невестке...

В полдень, когда он пил чай на эйване, ему пришло в голову разыскать работенку по силам. «Чего без дела шататься – и правда, будут считать: развалина! Хлев сам чищу, гнедого сам обихаживаю... Загородки в порядке содержу... Пойду вечером в правление, познакомлюсь с новым председателем, потолкуем, давай, скажу, мне какую-нибудь стариковскую работу!..»

Решил, и на душе полегчало, захотелось приласкать невестку.

– Томишься, детка? Скучно одной-то... А ты возьми да к своим сходи, я вечерком зайду за тобой...

– Зачем? Ничуть не скучно, – не глядя на него, отозвалась Гюльзар и стала собирать посуду. – Чего это я буду дом бросать? Захотят, сами придут...

Улыбка тронула глаза старика. Ильяс киши распрямился, выпятил грудь и легким молодым движением поднялся с тюфячка.

Сбежал по лестнице, откашлялся, вздохнул поглубже... В хлеву заржал конь. «Иду, иду!» – крикнул Ильяс гнедому.

Все началось с того разговора в клубе.

Колхоз в последние годы просто-напросто разваливался. Все глубже увязал в долгах, по последним показателям стоял на последнем месте в районе. Председатели менялись каждый год. Нынешний был поставлен три месяца назад. Ильяс киши готовился женить внука, когда пошли разговоры, что опять снимают председателя.

Вот тогда-то и пожаловало к ним районное начальство: секретать райкома, председатель исполкома, прокурор, начальник райзаготконторы. Ясно – приехали снимать. Но когда возле правления собрался народ, председатель колхоза вдруг сказал, что никакого собрания не будет, что секретать райкома хочет побеседовать с аксакалами. Пошли по домам собирать стариков, насчет Ильяса киши секретарь предупредил особо. Когда старики собрались в клубе, секретарь с каждым поздоровался за руку. Он был еще молодой – на висках чуть пробивалась седина, но казался человеком умным и основательным. Лицо у него усталое, озабоченное.

Гости из района не стали подниматься на сцену, уселись тут же, рядом со стариками. Было тихо, только поскрипывал стул – Селим киши все пытался усесться поудобней...

– Прежде всего, извините, что побеспокоили вас, пожилых людей, – секретарь райкома виновато склонил голову. – Но это необходимо: мы хотим посоветоваться с вами – отцами нашими, нашими старшими братьями. Я сам вырос в деревне и понимаю, что если земля не родит, если из года в год снижаются урожаи, виновата не земля, а те, кто ее обрабатывают.

– Молодой, а соображает, – шепнул Ильясу Селим.

– Так ведь старики-то из молодых выходят. Если смолоду дурень, и в старости умным не быть...

Секретарь райкома закурил. Чувствовалось, что говорить ему трудно. И что говорит он то, о чем уже давно и много думает...

Секретарь райкома откашлялся.

– Вы люди бывалые, хорошо знаете жизнь. Понять не могу, как случилось, что деревня, где столько аксакалов – воплощения народной мудрости – могла оказаться

в подобном положении... Должна ж быть какая-то причина. И вы ее знаете. Наверняка знаете, в чем причина отставания колхоза. Мы – не знаем. Может, вина в нас, в руководстве района? Скажите, если так. Кроме вас, нам этого никто не скажет.

Секретарь райкома умолк. Все молчали. Заворочался, заскрипел стулом Селим. Секретарь посмотрел на него. Старик, не привыкший сидеть на стуле, просто устраивался удобней, но увидев, что секретарь обернулся, и все смотрят на него, понял, что должен говорить.

– Есть ваша вина, – сказал он. – Есть.

– Да? Объясните, прошу вас! – секретарь райкома внимательно смотрел на дядю Селима, в глазах у него уже незаметна была усталость. – Прошу вас, – повторил секретарь райкома.

– Да что ж объяснять-то, сынок? Земля – она, конечно, терпеливая... Вот мы по семьдесят, восемьдесят лет живем и ничего – терпит нас. Ждет. Ждет, когда в нее ляжем.... – дядя Селим вскинул густые брови, теперь были хорошо видны черные, грустные глаза. – Бросаешь в землю зерно, нужно ждать, пока прорастет, пока всходы даст. А вы в этом году поставили человека, через год гоните... Он, может, только-только обвык, разбираться начал, а вы ему – до свидания!.. Поставили нового, а тот уж знает, что сроку ему год. Ну и начинает хватать, где может. А люди как? Увидал такое дело – все, каждый начинает к себе тянуть. Без всякого стеснения в карман к государству лезут... – Дядя Селим снова нахмурил брови, укрыв под ними глаза.. – А когда такое дело, попробуй заставить работать на совесть... – последние слова он произнес совсем тихо.

Снова наступила тишина. Секретарь райкома что-то писал в блокноте. Вскинув голову, старик уже дремал, закрыв глаза.

– Большое спасибо, – сказал секретарь райкома. – В правдивом слове обиды нет. – И он перевел взгляд на Иси.

Иси киши задумчиво погладил усы.

– Ну что ж... Во-первых, спасибо за уважение: позвали нас, совета просите, мнением интересуетесь... Насчет председателя дядя Селим верно сказал. Он одно только упустил – насчет честности. Если все по-честному, ад раем кажется. В войну как было? Пули свистели, смерть кругом, а вранья, обмана не было. С открытым сердцем жили. Поэтому и победили фашиста. Всю войну деревня без мужиков оставалась – дядя Ильяс до пяток инвалид, а пришли мы с войны, узнаем: за четыре года случая не было, чтобы своровали что... В голодные годы из соседних колхозов к нам за зерном шли. А теперь только бы и жить, а у нас на трудодни ни хлеба, ни денег... К соседям за зерном ездим. И воровство... Вроде с голоду воровать – еще так сяк... А теперь воровать? Воруют. Взятки берут... Почему? – Иси посмотрел на секретаря райкома.

– Вот я и пытаюсь понять, почему? Очень хочу понять это! Все мы дети одной советской семьи. Иной раз и в семье случается: взял, к примеру, мальчик деньги без спроса. Первым делом стариков на ноги! Не чтоб вора ловить, а чтоб подумать: с чего это ребенок на воровство пошел? Какая тому причина? – секретать райкома обернулся к Ильясу киши. – Вот, дядя Ильяс, ты тут самый старший, самый достойный. Вся жизнь твоя – служение народу. Против гачагов сражался – знаем. Головой рисковал без счета – знаем... Жену твою гачаги убили, сына убили – знаем... Один у тебя сын остался, единственный, и тот от раны погиб... Вся жизнь твоя отдана народу, нашему советскому строю. И ты можешь спокойно смотреть, когда такое творится?!

Морщины на темном лице дрогнули. Ильяс киши смотрел секретарю райкома прямо в глаза.

Странный старик. В нем словно два человека. Лицо из камня высечено. Седые корни, орлиный нос, и вдруг эти голубые глаза... Непримиримость, стойкость, способность на самопожертвование и этот неожиданно мягкий, добрый и грустный взгляд!..

Ильяс киши не разобрал, приятны ли ему слова секретаря, или от них чувствуется лишь боль, как в растревоженной ране... Он только всем своим существом ощутил: «Коня!..» Вскочить бы сейчас в седло, поднять скакуна на дыбы!..

Дядя Селим открыл глаза. Перехватил взгляд Ильяса и вновь беспокойно заерзал на стуле, наполнив тишину его скрипом.

Секретарь райкома напряженно ждал. Он понимал, что если молчание продлится, Ильяс киши уйдет в себя – разговор прекратится. А снова донимать его расспросами было бы слишком.

– Это верно, дядя Ильяс, – мягко, вроде даже застенчиво заговорил прокурор. – Я вот чего не могу понять. Тут сейчас говорили, в войну в вашей деревне хлеб не переводился. У нас-то все больше травой живот набивали... А сейчас такое, вроде, время... Просто в голове не укладывается!.. Почему колхоз в отчаянном положении находится?! Хозяйство мощное, аксакалы мудрые, парни – кулаком гору прошибут, а дела все хуже и хуже!..

Дядя Ильяс опустил глаза. Подумал.

– Да время сейчас какое-то – не поймешь... – он говорил негромко, задумчиво, словно бы сам с собой. – Таких, как я, демагогами называют. Завидуешь, мол, нашему богатству... Вот и выходит: вниз плюнешь – на бороду угодишь, вверх плюнешь – на усы!.. Колхоз – дело трудное. Непросто в нем порядка достичь. Ошибок допускать нельзя. Допустило начальство ошибку – раз допустило, два, три – человек уже не работник в колхозе, на колхоз у него надежды нет, бросает все, в огород к себе бежит... А ошибок было допущено много. Ох, много!.. Вот люди и отучились работать. На легкий хлеб потянуло. Насадит для себя участок огурцов, помидоров – приусадебные участки мы после войны расширили, дороги: сегодня здесь – завтра в Москве... Свозил разок помидоры, положил в карман деньги – больше чем за трудодни за целый год! Потом-то он, конечно, идет и на колхозное поле – нельзя без этого, ему нужно на тот год, чтоб налог как на колхозника был. Только какая же это работа?.. Вот вы сказали, что колхоз из долгов не вылезает. Нищета, можно сказать... При таком положении с голоду бы помирать. А не помираем. Куда там!.. За последние два года сколько в деревне машин куплено?.. Пройди по улице – какие дома стоят?.. Тоже недавно поставлены. И не ворованное – нет. Если бы воровали, прокурор – вот он, рядом – давно бы раскопал. Ворованное – не ворованное, да честным не назовешь. Не крестьянские это заработки. Отвыкают люди от настоящего труда...

Сперва секретарь что-то записывал, потом перестал, только слушал. Не давала покоя мысль: «Где-то я видел его... Или портрет на выставке?..»

Скрипнул стул. Все обернулись. Глаза дяди Селима прикрыты были бровями. Казалось, он спит. Секретарь райкома снова взглянул на Ильяса. Тот молчал. Светло-голубые глаза его стали еще чище, еще прозрачнее. «Все, больше он говорить не станет», – подумал секретарь райкома и тихо, словно боясь разбудить спящего старика, спросил:

– А где он учился?

Он спросил очень тихо, но Селим киши снова заскрипел стулом. Густые, широкие брови поднялись, приоткрылись глаза.

– Можно сказать, нигде, – он взглянул на Ильяса. – У нас тут курсы тогда открылись. «Шагаем!» – назывались. Вот и учились... Меня отец записал, да будет земля ему пухом. Силой учиться заставили: читать, писать...

***

Прошло совсем немного времени после того разговора, а Ильяс киши стал замечать: люди к нему переменились. Завидев издали, одни уходили, другие делали вид, что не замечают, третьи сквозь зубы цедили: «Здравствуйте...» Всегда было заведено, что при виде него любой водитель притормаживал – не дай Бог запылить Ильяса киши! – сейчас машины проносились мимо, обдавая его облаком пыли. «Жалко, время мое прошло, – сокрушался старик, – показал бы я вам, почем пуд лиха!.. А над старым волком и последний щенок смеется!.. Ладно, и это переживем!..»

Когда на свадьбу Шахина, можно сказать, никто не пришел, лишь несколько школьных товарищей, Ильяс киши встревожился не на шутку. Но вида не показал: «Пускай!.. Собака лает, а караван идет!..»

А тут еще появился новый председатель колхоза и сразу быка за рога: «Я из-за вас партбилет класть на стол не буду! В райкоме все известно: торговлей занимаетесь, а в колхозе работать некому! Перемерю участки: у кого больше нормы – отрежу!..»

Теперь с Ильясом киши просто-напросто не здоровались. А тем нескольким старикам, что еще продолжали его приветствовать, демонстративно не оказывали уважения. Ильяс киши заперся в четырех стенах, перестал выходить на люди. Вчера, провожая внука, он впервые за много дней появился на деревенской улице.

Подумал было зайти к председателю, – пусть даст посильную работу. Но поразмыслил умом и решил, что люди и этот его поступок истолкуют как-нибудь не так.

Старик не винил председателя.

«Что ж... Он не врет. Райкому я это говорил, да еще при всем народе. Только ведь сказал-то я правду, а раз правду, стало быть, и жалеть не о чем».

Небольшие излишки были у каждого – после войны, чтобы подкормить изголодавшихся людей, приусадебные участки расширили. Но отрезать излишки – долгая история. Нужно приглашать комиссию из района, то да се, и Керим решил, что если он сам, своей властью отнимет кое у кого часть земли, люди увидят, что у нового председателя твердая рука, поймут, что имеют дело с настоящим хозяином. Вот только с кого начать? Мысленно перебрав все дворы, председатель остановился на Зейни. Пенсионерка, одинокая. Участок большой. Да и бабка вроде покладистая – шуметь не будет. А если и поднимет шум, нет у нее родных, чтобы на защиту встать.

***

Муж Зейни и ее единственный сын ушли в сорок первом – словно в воду канули. Ни письмеца, ни весточки никакой – ничего. Все военные годы Зейни проработала в колхозе, всегда шла на самую тяжелую работу. И никто никогда не видел, чтобы Зейни плакала. Сколько похоронок получено, сколько поминок справлено!.. Сидит всегда где-нибудь в уголке, прижав к губам согнутый палец. Сидит, думает...

Но когда война закончилась, и начали возвращаться фронтовики, Зейни уже не могла скрыть отчаяния. Часами сидела она возле какого-нибудь солдата и жадно слушала: вдруг скажет, – мол, видел твоих...

По пятницам она теперь с утра уходила на кладбище. Оправляла отцовскую могилу и плакала: «Ой, отец, приходят ведь, а наших нет как нет!..» Она говорила «наших» – назвать мужа по имени у могилы отца Зейни стеняслась.

Удивительная она была, эта тетушка Зейни. Ходила она всегда очень быстро, широко расставляя длинные ноги, размахивая руками. Идет, и вроде бы вся дорога занята – не разминуться. Ребятишкам казалось, что откуда ни погляди, Зейни всегда все видит, словно дерево среди пустыни. Только Зейни вышла со двора, уже на руках ребенок. У арыка схватит, несет матери: «Ты что ж это, сучья дочь, ребенка у арыка бросаешь – в арыке его нашла!?» Занозил мальчонка ногу – держись, мать, будет тебе на орехи. «Себе, небось, самые дорогие туфли ищешь, а ребенок босиком бегает!» И детишки души в ней не чаяли – увидит ее ребенок, сразу ручонки тянет. И Зейни обязательно подхватит малыша на руки.

Сидеть на руках у тети Зейни было высоко, как на дереве. На руках у Зейни ребятишки даже отцов своих не боялись, потому что знали: тете Зейни не страшен никто на свете. Но старой Зейни известен был страх, только детишки не понимали этого – страх одиночества. Потому и старалась не быть дома. Дома все напоминало о них...

Но все стареет. Воспоминания с годами тускнели, старились, как осенняя изгородь, как осыпавшийся ров...

Состарилась и Зейни. Согнулась ее спина, плечи вздернулись, голова осела. В последние годы тетю Зейни все реже видели на деревенских улицах.

***

Услыхав тарахтенье моторов, Зейни вышла на эйван. Изгородь из колючек давно подгнила, осела, и с эйвана видна была улица. Напротив ее дома стояли бульдозер с работающим мотором и крытая брезентом легковая машина, на которой ездил председатель. Возле машины топтался незнакомый человек, плотный, небольшого росточка.

«Новое начальство!» – сразу догадалась Зейни.

Она сошла вниз.

– Вот, тетушка Зейни, новый председатель, Керим киши, – водитель Хашимоглу кивнул на толстяка.

Словно для того, чтобы казаться выше ростом, председатель поднялся на чуть заметную насыпь, тянувшуюся вдоль бывшего рва, и встал на ней, горделиво поглаживая усы.

– Здравствуй, сынок! – сказала тетя Зейни. – Чего ты это встал? В дом иди, чайку выпьешь...

Хашимоглу подскочил к бульдозеру, заглушил мотор. Стало тихо.

– Заходи, сынок! – повторила Зейни. – У меня чай есть, свежезаваренный...

– Зейни-арвад! – строго сказал председатель. Старуха нахмурилась. В деревне ее так не называли: пожилые люди звали «сестрица Зейни», молодые же называли тетушкой. А тут без всякого уважения – «арвад». – Ты человек одинокий, – продолжал председатель, – зачем тебе такой участок? Мы отрежем лишнюю землю.

Хашимоглу, на корточках сидевший возле канавы, старательно ковырял палочкой землю. Всем своим видом он как бы хотел сказать: «Я тут ни при чем, тетя Зейни. Я человек подневольный».

Председатель умолк. Но тут же, словно испугавшись наступившей тишины, заговорил снова:

– Сама скажи: к чему тебе столько земли? Обрабатывать все равно некому.

– Знаешь, сынок... – старушка вздохнула. – Погоди малость. Жить-то мне всего ничего, а в могилу землю не возьмешь. Помру, можешь и дом порушить, и двор перепахать – воля твоя... – считая, видимо, что вопрос решен, Зейни хотела было идти в дом, но обернулась вдруг и глянула в лицо председателя. – А работники мои с войны не пришли. Было бы кому огород копать...

На председателя словно кипятком плеснуло.

– Ну что с вами делать, честное слово?! Ну, не были мы на фронте! Не были!.. Родиться опоздали!.. Четверть века прошло, а они все войну эту в глаза тебе тычат!..

Бабушка Зейни, не отрываясь, смотрела на коротенького человека. Но сейчас в ее взгляде была уже не грусть, не обида. Гнев горел в ее глазах.

– Ты войны не касайся! Слышишь – не тронь войну!.. Там сына моего могила! Мужа могила! Не смей их языком своим поганить!

Председатель побраговел.

– Чего расселся?! – вдруг заорал он, подскакивая к Хашимоглу. – Садись за руль, и чтобы через пять минут никакого рва не было.

Хашимоглу стал нерешительно приподниматься...

На крик выходили соседи. Несколько ребятишек сунулись было в ворота, да остановились, боясь подойти ближе. Во дворе у Ильяса киши тоже услышали крик. Шелале – сестренке Гюльзар – так хотелось побежать посмотреть, в чем дело, но она лишь нетерпеливо поглядывала то на дедушку, то в ту сторону, откуда доносились крики.

– Сравняй!.. Попробуй!.. – слышался хриплый крик бабушки Зейни. – Как теленка прирежу, прямо тут, посреди двора!..

Ильяс киши покачал головой и пошел к воротам Зейни. Потом, видно, передумав, переступил через изгородь и остановился за спиной председателя.

Тот сразу почувствовал – что-то произошло. Мгновенно успокоившись, бабка отбросила в сторону косарь, которым размахивала, и зашагала к дому.

Керим недоуменно посмотрел на Хашимоглу. Хашимоглу кивком указал ему назад. Керим оглянулся и совсем рядом увидел дядю Ильяса. Старик показался председателю огромным – вдвое больше Хашимоглу. На него он, вроде, и не смотрел...

Председатель хотел крикнуть, чтобы мотор был немедленно включен, но слова почему-то застряли в горле. Не глядя на старика, он поспешно направился к машине.

Дядя Ильяс воткнул в землю лопату, присел на изгородь... Наступила тишина. Даже шум отъехавшей машины, казалось, не нарушил ее.

Дядя Ильяс молчал, уставившись в землю. Возле самой его ступни зеленел свежий побег – старик невольно подвинул ногу. Огляделся – откуда он, вроде, и дерева поблизости нет...

«Что за земля у нас?.. Что ни брось в нее, все растет, все всходит...»

Тетя Зейни думала, по обыкновению прижав к губам согнутый палец. Хорошо, что пришел Ильяс. Все он понимает, все умеет. Если бы он тогда ушел вместе с её мужем и сыном, может, и помог бы им, научил бы, не дал бы сгинуть...

***

Немой Мустафа был мужем самой болтливой женщины в деревне. Лале никогда не закрывала рта. Если рядом не оказывалось собеседника, она все равно находила, с кем поболтать... Говорила с курами, с теленком, с коровой, когда ее доила...

Мустафа и Лале были на редкость любящими супругами, – другой такой пары не то что в деревне, по всему свету не найдешь. Стоило Мустафе два раза кашлянуть, Лале уже не могла заснуть. Вставала среди ночи, нагревала кирпич, заворачивала его в кофту, клала мужу под ноги, потом садилась рядом с ним на постель. «Сколько раз говорила тебе – хоть немного о себе думай!.. Доконаешь себя этой работой!.. Заставишь меня слезы лить!..» Она причитала и плакала над мужем до тех пор, пока тот не начинал огрызаться. Если же Лале ложилась в постель и с головой укрывалась одеялом, Мустафа ни на шаг не отходил от нее, сидел, молча гладил седые волосы, и та постанывала, перемежая стоны с причитаниями: «Господи милосердный, сжалься!.. Не за себя прошу, ей-богу, не за себя – его, сироту, на кого оставлю!.. Что с ним будет, если помру?!» – она начинала громко рыдать, и Мустафа, расстроенный вконец, тоже не мог сдержать слез.

Они поженились двадцать лет назад, детей у них не было, и всю любовь, отпущенную человеку на детей, расходовали друг на друга.

Брат Мустафы, Тощий Гасан, жил по соседству, через забор. У Гасана было девять сыновей и три дочки, но ни один из двенадцати детей не смел близко подходить к калитке, ведущей в дядин двор.

Раньше они хоть иногда наведывались, но стоило ребятишкам появиться, Лале начинала ворчать: «Опять забор поломали... На алыче ветку сломали... В теленка камнем бросили.. Весь двор замусорили, паршивцы, – с метелкой не расстаюсь!..»

В конце концов Мустафа не выдержал, прогнал племянников: «Нет у нас сил возиться с вами!..» И во дворе стало тихо – никто больше к ним не приходил..

Мустафа работал в колхозе с детских лет. В войну он был подростком. Весной, во время пахоты, с хворостинкой в руке сидел на ярме у быков, летом пересаживался на молотильную доску. Повзрослев, Мустафа взял в руки заступ и стал распределять воду.

Мустафа никого не любил, но уважал хороших работников. Иси киши, например, был ему приятен, потому что тоже был джуваром[1], и хорошим джуваром. Из молодых Мустафе был по душе тракторист Шеми, племянник Иси – пашет, злодей, словно узоры рисует...

Зато тех, кто, гонясь за длинным рублем, возил в Россию огурцы и помидоры, Мустафа на дух не переносил, ненавидел.

В деревне Мустафу не любили, однако отдавали ему должное. Везде, где собирался народ, он всегда оказывался рядом с самыми уважаемыми людьми.

За немногословие Мустафу прозвали «немым», но немым Мустафа не был, просто знал цену словам. «Слово – что пуля: стреляй, когда самый момент! Чтоб мимо уха не проскочило!»

У Мустафы было примечательное качество – он дружил со всеми председателями, причем о дружбе этой мало кто знал – Мустафа умел держать язык за зубами.

Председатель получал от Мустафы самые разнообразные сведения, а люди только поражались, как это начальство умудряется все знать, все видеть.

[1] Джувар — человек, занимающийся распределением и подачей воды на поля.

Было уже заведено, что старый председатель, сдавая дела, как бы передавал своему преемнику и Мустафу. Заступив на должность, новый председатель сразу же находил повод позвать его к себе. Так было всегда, но Керим председательствовал уже два месяца, а Мустафе все никак не удавалось улучить момент и побеседовать с ним: «Запутают!.. С толку собьют!..» И впрямь могло случиться, что кто-то другой приобретает влияние на новое начальство.

Беседуя с новым председателем перед тем, как направить его в Сарыгаялар, секретарь райкома много говорил об Ильясе киши. Сказал, что это удивительный человек, что он пользуется в деревне огромным авторитетом, и предложил во всех трудных случаях советоваться с мудрым стариком.

Керим вроде бы согласился, однако был твердо уверен в том, что именно из-за этого мудрого праведника и не смог удержаться в колхозе ни один председатель, а потому, заняв председательское место, сразу же разработал план действий против Ильяса киши. План состоял из трех мероприятий. Прежде всего, надо подорвать его авторитет. Ну, это проще всего – старик сам подготовил себе почву. Второе – надо найти предлог и всенародно устроить деду хорошую выволочку, чтобы тому пришлось просить пощады. И третье – простить Ильяса киши. Простить и даже выступить в его защиту.

Предшественник Керима по установившейся уже традиции поведал ему о Мустафе, но Керим не спешил вызывать его, считая полезным потомить, помедлить. Встречаясь с Мустафой взглядом, Керим всякий раз видел напряженно вытянутую шею, мучительное ожидание в глазах, и зрелище это доставляло ему удовольствие.

Каждый вечер Мустафа упорно являлся в правление. Он понимал, что необходим председателю – тот работает уже два месяца, и ему обязательно надо знать, как принимают его люди, что говорят о нем, как оценивают его действия.

И вот, наконец, свершилось. Однажды вечером, поздоровавшись со всеми у входа в правление, председатель задержал взгляд на Мустафе. Прошел по коридору и, уже входя в кабинет, обернулся.

– Мустафа киши, заходи потом.

В тот вечер Мустафа вернулся домой поздно. Глаза у него сияли, лицо было просветленное, ясное. Сразу повеселев, Лале быстренько подала мужу чай.

– Значит, потолковали?..

– Ага!..

– Сообразил, дурень, что без твоего совета шагу ступить не сможет!..

– Нет, жена, он не дурень. Мужик головастый.

И Мустафа замолчал, заново пережевывая разговор с председателем.

Конечно, тот первым делом спросил, что говорят о нем в деревне. Ответ Мустафы был заготовлен давно. «Ничего, довольные, линия у вас правильная. Заставить бы еще на работу ходить тех, кто по домам отсиживается... Совести-то у людей нету. Взять хотя бы Ильяса киши. Вроде, самый, что ни на есть, законник, а невестку – он внука недавно женил, в армию проводили – на работу не пускает. А ихняя Гюльзар по сто килограммов в день хлопка собирала... Может, он в чем-то и прав, может, я чего-то не понимаю, но только, сдается мне, не пойдет так... Не пойдет у нас дело, если все жен да невесток будут по домам держать...»

В этом месте в глазах председателя что-то вспыхнуло, красное лицо, еще больше побраговев, стало темным. Глаза светились на нем, как две дырочки в стене, обращенные на солнечную сторону. Мустафа понял, что попал в точку.

– Так больше не будет, – сказал председатель. – Работать в колхозе должны все! – и стукнул по столу.

... Голос жены оторвал Мустафу от приятных воспоминаний:

– Ты что, заснул, что ли?!

Мустафа обернулся, жена стояла, уперев руки в бока, и недовольно смотрела на него.

– Чего ты?

– Поглядите на него!.. Толкую, толкую, а он: «Чего ты?..»

– Устал я...

– Еще бы не устать!.. Сколько раз тебе говорено: до каких пор будешь с водой маяться?! Сведет она тебя в могилу, эта вода!.. Чуть небо затянуло, спину разогнуть не можешь!.. Менять надо работу!

– Поздно мне ее менять, – Мустафа вздохнул. – Двадцать пять лет при воде... К другому делу не приноровиться. Да и дело никто не знает, как я. Получаю неплохо... Если б колхоз малость ожил, столбы на эйване из золота ставить было бы можно!..

– Ты мне дороже всякого золота! Чахнешь на глазах, – каково мне такое видеть?! Бросай воду! Пускай другого джуваром назначат!

– Да если я это дело брошу, и джувар нужен не будет! Поставят мальчика сопливого, за год поля засолит! А мне такое видеть – помереть легче!

… Скоро месяц, как ушел Шахин. Гюльзар получила от него три письма. Получив первое, она сначала прочла письмо залпом. В нем было полно восклицательных знаков – не только после каждой фразы, но и после отдельных слов. Она еще раз прочла письмо уже медленней и стала считать восклицательные знаки. Пересчитав, порозовела и прошептала чуть слышно: «И я тебя...»

Ильяс киши терпеливо ждал, когда невестка положит, наконец, письмо.

– Чего он там пишет-то?

– Пишет, что здоров. Про тебя спрашивает, не болеешь ли... Возьми, прочитай!

– Ты ж прочла...

– А что такого – прочти!

Видно было, что невестка не из вежливости, а от чистого сердца предлагает ему прочесть письмо. Выходит, нет там ничего такого, можно взять...

– А чего это он столько палочек наставил? – поинтересовался старик, возвращая Гюльзар письмо.

– Это не палочки, дедушка, восклицательные знаки.

– А... Знаю, мы проходили... Еще один есть, на серп похож – это когда спрашивают... Точка еще... А это зачем – я чего-то запамятовал?..

– Этот? Этот знак ставится, когда нужно выразить гнев или радость. Или приказ...

– Что это он нам больно много приказов дает? – старик хитро прищурился. – Ребятишки мы – приказы его выполнять?

– Да он не приказывает! Просто радость выражает. Легко у него на душе. Вот он...

– Ну, это другое дело...

Прочитав письмо, Гюльзар носила его на груди, пока не получила следующее. Она тосковала по мужу. Так тосковала!.. Но не хотела, чтобы родители знали – они

ведь предупреждали ее. Ничего не рассказывала она и сестренке. Первое время Шелале наведовалась к ней лишь изредка – побаивалась дяди Ильяса, а потом так привязалась к старику, что прибегала чуть ли не каждый день.

Шелале читала все письма Шахина, и от письма к письму глазенки у нее становились все грустнее. Девочка негодовала – как он может?! Не написать жене ни единого ласкового слова!.. Полтора месяца прожили, Гюльзар его письма под подушкой держит, а ему трудно два словечка написать!.. Рука отвалится?!

Позже и дядя Ильяс стал проявлять беспокойство. «Как же так получается?.. Молодая ведь, ей ласка нужна... Дедушка дедушкой, жена женой... В одном не получается, два письма напиши: мне – свое, ей – свое...»

Шелале стала перехватывать адресованные сестре письма. Схватит письмо и бежит домой – показать матери.

Прочитав последнее письмо, мать вздохнула, еще раз перечитала...

– Нет, – сказала она, – наверняка ей отдельные письма пишет.

Девочка нахмурилась.

– А если не пишет!.. «Командир у нас хороший. Я дружу с одним русским парнем, его зовут Петя... Природа здесь красивая. Погода хорошая...» Да если бы он мне так писал, я бы даже отвечать не стала!

В каждом письме Шахина непременно были и приветы – и Иси киши, и тете Нисе, и ей, Шелале, но девочка негодовала все больше. А у сестры, когда она читала письма Шахина, лицо было счастливое. Шелале ничего не могла понять.

– Гюля, – не выдержала она наконец. – Дай хоть одно письмо почитать, которые он тебе пишет! Тебе одной! Я никому не скажу!..

– Какое еще письмо? Ты что?

– Я знаю, он тебе пишет отдельно! Лично. Почтальон мне их не дает.

Гюльзар расхохоталась.

– Дурочка!.. – она обхватила сестренку за плечи и начала целовать. – Мои письма тут, внутри этих. У нас с ним условлено... Никому не расскажешь?

– Клянусь мамой!

– Ну, смотри! – Гюльзар достала из-за пазухи письмо, оглянулась по сторонам, достала листок из конверта. – Видишь? Ну, если кто узнает!..

– Я ж мамой поклялась!..

– Мы договорились с Шахином, что восклицательный знак значит: «Целую тебя!» Видишь, сколько их тут?!

– Ой!.. – Девочка прыснула. – Надо же!.. А я думала, чего это он, совсем пунктуации не знает?!.. – и Шелале принялась считать восклицательные знаки: – Раз, два, три, четыре...

Трава стояла чуть не до колен – раздолье! Но гнедого почему-то тянуло к молоденькой иве – ствол у нее был такой тонкий, кора зеленая-презеленая, – поглодать бы!.. Даже слюна бежала.

Конь обернулся, взглянул на хозяина. Тот лежал на спине, в тени карагача, подложив под голову папаху. Гнедой снова поглядел на хозяина и не решался подойти к деревцу. А Ильяс киши не заметил бы, он и думать не думал про коня, далеко были его мысли...

Опять сегодня видел во сне Сарытеля. Из правой руки хлещет кровь, левую прижал к груди, шепчет: «Прощаю тебе свою кровь... Прощаю...»

Тридцать восемь лет прошло, а Сарытель все снится ему. Часто снится...

... И мать, и отца Ильяса убили сородичи Сарытеля, когда сам Ильяс был еще в пеленках. Соседка Сервиназ нашла его утром между двумя мертвыми телами. У нее тогда была дочка, тоже грудная, женщина стала кормить обоих. Вскоре девочка умерла, и Сервиназ еще больше привязалась к приемному сыну.

Когда Ильясу было четыре года, Сервиназ родила сына. Мальчика назвали Аяз – и к погоде подходило: в самую стужу родился мальчик. Да и имена их звучали согласно: Ильяс, Аяз...

Кровные враги Ильяса были с верхнего конца деревни. Там жил и Сарытель – первый его приятель. Мальчики не ведали о том, что они враги, и в неведении было их счастье. Самые рослые, самые смелые, самые приметные среди сверстников, Ильяс и Сарытель были неразлучны. Кто прыгал в воду с самой высокой скалы? Ильяс и Сарытель. Кто влезал на столетний орех? Ильяс и Сарытель. Ильяс и Сарытель – их имена всегда упоминались вместе.

Приемный отец Ильяса заболел, три месяца не вставал с постели. Похоже было, что ему уже не подняться.

– Не нравится мне, что Ильяс все время с Сарытелем, – сказал он как-то Сервиназ, – из волчонка только волк вырастает... А Ильясу на том свете перед отцом и матерью ответ держать за эту дружбу. Расскажи ему, пускай знает. Только чтоб ничего не затевал. Он хоть и горяч, но любит тебя – послушается...

Вечером в тот же день отец велел позвать к себе Ильяса.

– Сынок, сынок... Я слышал, что ты стрелять научился?

– Да! Мы с Сарытелем груши сбивали. И все три сбили, но он в одну чуть промазал – только задел!

– Молодец! Выходит, ты у нас стрелок? Ружье нужно. Нужно тебе ружье?

Ильяс смущенно улыбнулся.

– Ничего, сынок. Есть у тебя ружье!

– У меня?! Ружье?! – Ильяс изумленно вытаращился на отца.

– Ой! – притаившийся в уголке Аяз подскочил к отцу. – Ружье! У брата ружье!..

– Ну, ну... – отец строго взглянул на младшего. Хотел что-то сказать, да закашлялся. Показал, чтобы открыли дверь. Ильяс метнулся к двери, распахнул ее и сел у притолоки, не отрывая глаз от больного. Когда кашель немного отпустил, отец показал Ильясу на висевший на стене коврик. – Там висит. Над очагом, под ковриком. Возьмешь ружье, но смотри: бахвалиться станешь, в невинного человека целиться, не будет тебе от меня прощения ни на том, ни на этом свете! Я тебе почему ружье даю? Сегодня я есть, завтра меня нет, ты в доме мужчина! Зверь или, может, собака бешеная – вот для чего тебе ружье! Мать тебе кое-что расскажет, но ты не вздумай... Мать! Расскажи ему... Только постреленка этого прогони, – он ткнул пальцем в сторону Аяза, и снова его начал душить кашель...

И в доме Сарытеля давно уже было неспокойно. Парни росли, мужали. Неумолимо приближалось время, когда они станут врагами.

Стоило матери Сарытеля услышать голос Ильяса, вызывающего приятеля на улицу, она начинала ворчать.

– И чего повадился, змееныш! И наш хорош!.. Парней ему мало на своем конце!.. Через всю деревню топать готов, лишь бы со своим Ильясом свидеться!..

В тот день, когда Сарытель радостно сообщил матери, что у Ильяса теперь тоже есть ружье, мать молча схватила его за ухо и потащила в дом.

– Слушай, что говорить буду! У тебя только Ильяс на уме, а знаешь, кто он,

твой Ильяс? Думаешь, его Сервиназ родила? Как бы не так! У него, знаешь, родня была – от гордости в деревню не вмещались! Потом – ничего, все в земле уместились – каждому по два аршина!..

Она рассказала сыну все.

Сарытель весь день пролежал, отвернувшись к стене. Вечером мать увидела: красный весь, глаза блестят – смотрят куда-то сквозь нее…

Мать говорила осторожно, выбирая слова, но все равно – Сарытель понял: виноваты были его родные.

В бреду ему представлялась картина последнего набега...

Вот ударили кинжалом мать Ильяса, та закричала, собака срывается с цепи, влетает в дом.... Огромный пес хватает чужих, клоками вырывает мясо... Вот почему дядя Таптыг хромает. Вот почему остался в живых Ильяс...

Ильяс и Сарытель встретились у реки. Уже пригнали скотину, вдалеке, на самом краю неба, все больше и больше бледнея, еще светилась красноватая полоса.

Сидели рядом на краю скалы и молчали. Смотрели на воду. Вода журчала весело и спокойно.

Они вдруг стали взрослыми. Не хотелось уже болтать о пустяках, но сразу, как взрослые, начать деловой серьезный разговор они еще не умели.

Первым заговорил Сарытель.

– Какой ты худой стал... – сказал и умолк. Говорить было трудно. Повернуться, взглянуть другу в глаза – еще труднее...

– Болел, – сказал Ильяс, – простыл где-то...

– Ну?! Я тоже неделю пролежал. Без памяти был..

– Правда? А я и не знал!..

Слова эти вырвались у Ильяса. Он хотел сказать, что пришел бы, если б знал, но тут же сообразил, что если бы даже и знал, не пришел бы. От этой мысли заполыхали щеки. Хорошо, что уже темнело.

А Сарытель, обрадованный порывом друга, обернулся, взглянул на него, увидел низко склоненную голову и, опустив глаза, снова уставился на воду. Вода мерцала, словно покрыта была затканной серебром тканью... Низко, на высоте столетнего карагача, висела над деревней темнота. Черными силуэтами высились невдалеке надгробные камни кладбища – оба почему-то посмотрели туда... Сарытель поднялся первым.

– Пойду, дома беспокоятся.

Ильяс молча кивнул ему, улыбнулся. Подобие улыбки мелькнула и на губах Сарытеля.

– Спокойной ночи, – сказал он.

Они медленно разошлись по домам.

***

Время шло и делало свое дело.

Сарытель и Ильяс росли, мужали. И чем взрослее они становились, тем все больше увеличивалось расстояние между верхним и нижним концом деревни. В последний год оно стало таким длинным, что Сарытель и Ильяс встретились лишь несколько раз.

Сарытеля все чаще теперь видели посреди деревни, там, где высился дом Джаваншир-бека.

Раздружившись с Ильясом, Сарытель стал неразлучен с бекским сыном. Бек был доволен: его Аслану нужен был в друзья именно такой парень.

Бек подарил Сарытелю скакуна. Самые ловкие, самые отчаянные парни льнули к нему, ловили его взгляд. Чего только не вытворял Сарытель с дружками, любое озорство сходило им с рук – сын бека был надежной опорой.

Только Ильяс, его дом, дома его соседей и родичей оставались неприкосновенными – сам Аслан-бек остерегался связываться с Ильясом.

... Однажды утром по деревне распространилась новость: Джаваншир-бек исчез, скрываясь в горах. С Джаванширом ушли и несколько человек, в том числе Сарытель и Селим.

Ильяс не понимал, чего это они? Советская власть за бедняков, зачем бежать от нее? Что им делать в горах с этим Джаванширом?..

Ну, пускай Сарытель – с бекским сыном дружил, пускай Гамид, сын Таптыга, этот боится мести, думает, Ильяс щадил его только ради друга, но Селим?.. Добрый, мягкий – муху не обидит, он-то зачем ушел в горы?..

Позже стало известно, что Джаваншир-бек с домочадцами и со всем скарбом перебрался в Иран, и что гачагов возглавляет Сарытель.

А вскоре из района прибыл отряд по истреблению гачагов. Командир отряда Гара Мамиш был родом из их деревни, он знал о дружбе Ильяса и Сарытеля, а потому сразу же вызвал к себе Ильяса. «Нам известно, что Сарытель со своими парнями скрывается в лесах Пирвере. Нужно пойти и растолковать ребятам, что советская власть не считает их врагами. Какие они враги – простые деревенские парни... Пусть возвращаются. Но если они не выйдут, не сложат оружие, будет поздно. Трудно им будет получить прощение советской власти. Сарытель послушает тебя – вы друзья. Иди, Ильяс! Нужно помочь этим глупцам. А в случае чего, мы рядом...»

... Когда Ильяс ушел, Гара Мамиш собрал парней. «Кто хочет вступить в отряд, пусть приносят винтовки». Услышав слово «винтовки», Аяз так и подскочил – брат строго-настрого запретил ему прикасаться к винтовке. А он больше всего на свете хотел бы иметь собственную винтовку.

– А если у кого нет?! – Аяз подскочил к Гара Мамишу. – Дадите?!

Все рассмеялись. Командир отряда, рябой, с пышными усами и добрым широким лицом, внимательно посмотрел на подростка. У парня только-только пробились усики, придавая особую прелесть тонкому, по-девичьи нежному лицу.

– А почему ты спрашиваешь? – Гара Мамиш заглянул в сияющие мальчишечьи глаза.

– Ружье хочу! – выпалил Аяз и тут же смутился. Опустив глаза, он уставился на носки чарыков.

– Ружье хочешь? Хм... А ты чей-то будешь?

Аяз промолчал.

– Это брат Ильяса, – сказал один из парней.

– Брат Ильяса? – начальник отряда улыбнулся. – Ну, это меняет дело. – Он подошел к парнишке, хлопнул рукой по плечу. – Вот что, мое ружье ни у кого в руках не бывало, а тебе я отдам, уж больно ты мне понравился! – он снял с плеча пятизарядку и протянул ее обалдевшему от счастья Аязу. Затем расстегнул патронташ и сам перепоясал им нового члена отряда.

***

Ильяс вернулся назавтра к полудню. Он узнал, что гачаги ушли вглубь гор и хотел предупредить Гара Мамиша, что задержится, чтобы тот ничего пока не предпринимал.

У речки сидел Иси, рядом паслись ягнята. Ильяс подъехал к нему – он здоровался со всеми, даже с детьми. Мальчик вскочил и, мгновенно побледнев, испуганно отпрянул от него.

– Ты чего это? – нахмурился Ильяс. – Или что случилось...

– Нет, ей-богу, нет... – мальчик испуганно попятился назад. – Ничего... – но тут губы у него задергались и он заплакал, закрыв лицо руками.

Ильяс соскочил с коня.

– Ты что? Кто тебя обидел?.. Ну, говори! Да хватит тебе, ведь уже мужчина! Что случилось?

– Убили!..

– Кого?!

– Аяза!.. Ночью... Прямо у нее на глазах... Тетя Сервиназ все ходит... Тебя зовет. Никого к нему не подпускает...

В голове у Ильяса что-то звякнуло, будто разбилось стекло. Ноги его не держали – он сел. Мальчик что-то еще говорил, говорил, но Ильяс его не слышал. «Спокойно, – мысленно повторял он, – спокойно! Держи себя в руках. И вставай, нечего сидеть! – Ильяс вскочил. – Теперь иди! – Он сделал несколько шагов. – Куда ты?! А конь? Садись в седло, езжай, как положено!»

Ильяс мчался по деревне. Люди шарахались от его жеребца, косились испуганно – никто не посмел взглянуть Ильясу в лицо.

Сервиназ находилась на эйване одна. Она сидела в дверях, вытянув ноги и положив руки на колени. Ильяс подошел. Сервиназ подняла на него красные опухшие глаза и долго вглядывалась, словно не узнавала. Потом вдруг вскинула руки, потянулась к нему, но руки ее бессильно упали на колени. Она кивком показала ему на комнату и прикусила губу. По подбородку поползла тонкая струйка крови...

– Не плачь, мама... Не надо...

– Не плакать?! – прохрипела мать. – Это львицы не плачут, а я женщина... Я родила ребенка... Убили!.. Мальчика моего убили!.. Где ты был?! – вдруг закричала она. – Зачем ушел?! Убей и меня! Убей! Молоком своим заклинаю, убей!..

Ильяс поднял мать, и они вместе вошли в комнату. Сервиназ опустилась на колени, подползла к телу, упала на него и запричитала.

Ильяс приподнял голову Аязу. Все лицо его было исполосовано кинжалом. Сервиназ вдруг повернулась и с проворством ребенка-ползунка на четвереньках добралась до двери. Затворила ее и снова вернулась к Ильясу.

– Пусть молоко мое кровью вытечет у тебя из глаз, если не отомстишь за мальчика! Привези мне убийцу. Привези мертвым! Слышишь?! Иначе нет мне покоя ни на этом, ни на том свете! Гамид, сын Таптыга, убил моего мальчика!

Ильяс вскочил.

Во дворе послышался конский топот. Ильяс схватил ружье. Скрипнули ступеньки, кто-то поднялся на эйван.

Дверь распахнулась, и на пороге показался Гара Мамиш. Ни на кого ни глядя, он подошел к телу, поклонился, погладил шелковистые кудри...

– Эх, сынок... Как же ты так, сынок?.. – и он вдруг зарыдал как ребенок.

Ильяс вывел Сервиназ с эйвана. У соседнего дома толпились мужчины, он сделал им знак войти. Несколько человек, не глядя друг на друга, поднялись на эйван и прошли в комнату.

Во дворе началось оплакивание покойного.

Ильяс исчез сразу же после похорон.

Его не было два дня. На третий день, на рассвете, Сервиназ услышала его голос:

– Мама!

Голос слышался снаружи, с улицы. Сервиназ знала, почему исчез Ильяс, и все эти ночи не сомкнула глаз. Она еле добралась до ворот. На дороге лежал человек с веревкой на шее, конец ее был в руках у Ильяса. К седлу приторочены были три винтовки. Поодаль, прикрыв яшмаками лица, толпились соседки. Несколько мужчин стояли возле тела. Увидев Сервиназ, они отступили, давая ей дорогу.

Она не сразу узнала мертвого, лицо его было все в грязи. Потом вгляделась, узнала. Все ждали, что сейчас она закричит, зарыдает... Сервиназ подошла к Ильясу, взяла его за руку, хотела поцеловать.

– Что ты делаешь?.. – Ильяс отдернул руку.

– Так надо! – она снова взяла сына за руку. – Этой рукой ты убил его? – она поцеловала Ильясу руку, пристально посмотрела на него. – А теперь вымой руку, сынок, это поганая кровь... И поешь, ведь с голоду умираешь. – Она обернулась к собравшимся и сказала негромко: – Люди, мой сын отомщен. Не надо больше жалеть меня...

Ильяс спешился, шлепнул коня по крупу, чтобы пошел в стойло.

– Оттащите его подальше, – сказал Ильяс мужчинам. – И передайте, пусть заберут тело. Но так, чтобы я их не видел!..

***

Ильяс осторожно пробирался вдоль подножия скалы, прислушиваясь к каждому шороху...

Вот впереди дрогнула ветка, и острый взгляд Ильяса уловил отблеск оружейного ствола. Бесшумно метнувшись в сторону, Ильяс встал за дерево, осмотрелся...

За кустами кто-то был. «Запросто пристрелят! – мелькнуло в голове у Ильяса. – Не до благородства, когда по кустам прячутся, как зайцы!..»

– Эй, – вдруг услышал Ильяс. – Чего ты тут рыскаешь? Чего надо, а?

– Мне нужен Сарытель. Скажите ему, Ильяс спрашивает.

– Какой еще Ильяс?! Не знаю я никакого Ильяса!

– Ильяса не знаешь? Щенок! Обкорнаю уши, будешь знать!..

Пригнувшись, Ильяс осторожно перебрался в кусты. «Выйдет, куда денется!.. Обязательно выйдет! Тут я ему сразу – тавро на ухо!»

– Чего спрятался? – не умолкал парень, сидевший в засаде. – Иди сюда! Не жди, чтобы я сам к тебе пришел – хуже будет!

Ильяс не отзывался.

Не слыша ответа, парень стал проявлять беспокойство: он кричал, угрожал, но голос у него все еще срывался. Наконец из-за куста высунулась голова в огромной папахе – парень пытался разглядеть, есть ли тут кто. Ильяс внимательно следил за головой, где у этого дурня ухо. Голова чуть подалась вверх, двинулась в сторону...

Ильяс выстрелил. Голова исчезла в кустах.

И тут Ильяс увидел Сарытеля и Селима. Они шли по тропе прямо на него. Услышав выстрел, остановились.

– Кто стреляет? – обеспокоенно спросил Сарытель.

– Да этот дурень из Гарабаглы! – Селим засмеялся. – То и дело палит со страху!..

Ильяс прижался спиной к стволу тополя – спина защищена. Если что, он в два прыжка будет в ущелье, а там с трех сторон скалы, а с четвертой – Кура. Близко к нему не подойдут

– Сарытель, – послышалось из-за кустов. – Тут кто-то есть. Меня чуть не убили!..

Парни огляделись. Селим наклонился, отвел в сторону куст ежевики. Чуть выше, шагах в десяти от них, спиной к тополю стоял человек. Стоял и улыбался. Селим отпрянул, но тут же узнал Ильяса, и лицо его осветилось улыбкой.

– Здравствуйте! – сказал Ильяс.

Сарытель резко обернулся. Увидев Ильяса, он побледнел. Молча кивнул ему, не в силах произнести ни слова.

Селим крепко обнял Ильяса.

– Как там наши? – он виновато посмотрел на Ильяса. – Ничего, а?

– Все в порядке.

– Парня ты пугнул? – спросил Сарытель, голос у него сорвался.

– Я не просто пугнул, ухо укоротил щенку... Чтобы не грубил в другой раз!

Селим засмеялся.

– Ты что, ранен? – спросил он.

– Да нет ... – послышалось из-за кустов. – Ухо задето малость...

– Ладно! – сказал Сарытель, нахмурившись. – Посмеялись и хватит. Зачем ты пришел, Ильяс?

– Тебя ищу.

– Чего это я тебе понадобился?

Ильяс заметил, что Сарытель держит наготове наган. Селим перехватил его взгляд, обернулся и, сам того не заметив, направил на Сарытеля винтовку.

– Пришел спросить, долго ли будете по лесам бродить? Уже на людей не похожи. Ждете, когда отряд лес прочешет? Поздно будет. А прятаться вам от советской власти незачем – не беки и не ханы.

– Мягко стелешь, да жестко спать! – глаза у Сарытеля стали злыми. – Чужими руками расправиться хочешь? За брата?

Ильяс чувствовал, что Сарытель вот-вот выстрелит. «Чего медлишь – совестно в лицо?.. Ждешь, когда спиной повернусь? Что ж, сейчас повернусь...»

– Давно ты так за голову свою боишься? – Ильяс не спускал глаз с лица Сарытеля.

– Голова что – лицо боюсь потерять! – Сарытель не глядел на Ильяса. – Честь!

– А не думаешь, что уже потерял лицо под этой бородищей?

Ильяс на миг повернулся спиной к Сарытелю и, метнувшись в сторону, вскинул винтовку. Три выстрела слились в одном звуке. Сарытель промахнулся – пуля Ильяса пробила ему запястье. Не заметив, что Селим тоже выстрелил, Ильяс удивленно смотрел, как, прижав руку к груди, Сарытель медленно оседает на землю...

– Ильяс, мы в расчете, не тронь моих стариков.

– Да я... – Ильяс бросился к Сарытелю. – При чем тут они?.. Я в тебя не хотел... Ты сам...

– Да, сам... Я прощаю тебе свою кровь...

Сарытель умолк. В стеклянных глазах трепетали, отражаясь, крошечные зеленые листочки...

Послышались выстрелы... Один, другой, третий... Потом хриплый крик.

– Ильяс!.. Где ты, Ильяс?.. Не троньте его, сучьи дети!.. Вы окружены!.. Если хоть волос с его головы!.. Всех вас!.. Ильяс!.. Ильяс, отзовись!..

Ильяс обернулся, взглянул на Селима. Тот стоял, высоко вскинув голову. Казалось, он не слышит ни выстрелов, ни хриплого крика Гара Мамиша...

– Все... – сказал Ильяс. – Скончался... – и вдруг закричал: – Сарытель!.. Сарытель!..

– Это не Сарытель, – тихо сказал Селим, – наш Сарытель там остался, в деревне...

По черной кудрявой бороде его текли крупные слезы. Казалось, его глаза полны влаги, и он держит так высоко голову, чтобы не пролить ее...

Крики все приближались.

– Ильяс, – кричал Гара Мамиш, – Ильяс! Отдайте Ильяса, и я сохраню вам жизнь!.. Ильяс!.. – гремело в лесу. – Ильяс!.. Мы здесь!.. Мы с тобой!.. Ильяс!.. Ильяс!.. Ильяс!..

... Звонкий детский голос заглушил звуки выстрелов.

Ильяс киши открыл глаза, увидел девочку.

– Чего тебе, постреленок?

– Еда стынет, дедушка! А ты все спишь!..

– Еда?.. Скажи, приду сейчас...

– Нет, со мной пойдем! Вставай!

Ильяс киши усмехнулся, покрутив головой.

– Ах ты, коза-егоза!.. Ладно... Иду, иду...

***

Вечером новый председатель вызвал Ильяса киши в правление, заранее позаботившись о том, чтобы народу собралось побольше.

Председатель Керим отличался предусмотрительностью, а потому долго обдумывал, как будет себя вести. «Вдруг старичок начнет мне перечить? Не должен бы... Взять хотя бы мою матушку. Уж на что была властная женщина, а состарилась, и не узнать. Старый, что малый... Но все-таки допустим, что этот норовистый дед осмелится возражать. Тогда завтра же в райком! Хорошую, скажу, мне поддержку оказал: перед всем народом осрамил! А все потому, что на вас надеется!.. Проглотит!.. Не снимать же, если месяц назад поставили».

Когда Ильяс киши вошел, все поднялись с места. Не встали только председатель да Селим киши. Старик с трудом приподнял тяжелые густые брови и, толкнув локтем сидевшего рядом человека, велел освободить стул. Похлопав по сиденью, предложил Ильясу сесть рядом и протянул ему руку.

– Чего тебя не видно, Селим?

– А чего смотреть-то, будь она проклята, эта старость!.. Сам в зеркало никогда не взгляну, чего других-то своей рожей пугать?! Торчу в углу, словно мешок с трухой!..

Ильяс киши искоса посмотрел на Керима. Над широким председательским столом склонилась большая голова на красной короткой шее – председатель что-то писал. «Росточком-то ты не велик», – отметил про себя Ильяс киши. Председатель ему не понравился. Не потому, конечно, что красное лицо и короткая шея. А потому, что притворился, будто не заметил его прихода.

Оглядев собравшихся, Ильяс киши заметил Иси – кивнули друг другу. Люди тихонько перешептывались. Председатель продолжал писать. Наконец, поднял голову, взглянул неодобрительно...

– Так вот! – прорезал тишину недовольный голос. – Я тут просмотрел кое-какие документы. Дальше так продолжаться не может! В домах полно женщин, а в поле работать некому! На работу должны выходить все. Ильяс киши! – председатель обернулся к старику. – Почему не разрешаешь невестке работать?

– Нет, сынок, я тут ни при чем. Они сами по себе. Работать будут, учиться – мое дело сторона.

– Ладно! С завтрашнего дня пусть выходит на работу. Пятьдесят лет как женщине предоставлена свобода, а ты свою невестку запер да замок повесил!

– Это в двадцать пятом твои слова, может, и к месту были... Тогда женщины и впрямь понятия не имели, какая такая свобода... А теперь, сынок...

– Во-первых, я тебе не сынок! – прервал старика Керим, – а председатель колхоза! И будет так, как я сказал!

Стало тихо. Ильяс киши покачал головой.

– Это ты, конечно, прав. Какой ты мне еще сынок?.. Ты «сын тетки Тукезбан»! Так ведь люди тебя зовут?

Кто прыснул, кто ниже опустил голову. Председатель побагровел. Вскочил, трахнул кулаком по столу...

– Все! Поболтали и хватит! Пяток спекулянтов – весь колхоз развалили!.. А невестку незачем на замок запирать! Работы невпроворот – у мужиков до своих-то баб охоты нет, никто к твоей липнуть не станет!

Ильяс киши вскочил.

– Много себе позволяешь, – мрачно произнес он. – Зарвался, сынок! Не обрезали тебе уши вовремя! – Старик посмотрел на председателевы уши, уши и впрямь были странные, загибались вперед. – Погоди – обрежут! – И Ильяс киши направился к двери.

Все растерялись. Керима прошиб лоб. Селим киши с непривычной для него резвостью рванулся вслед за Ильясом.

– У тебя что, винтика не хватает? – спросил Шеми, удивленно глядя на председателя.

Селим киши обернулся в дверях.

– Ему не винтик нужен! По нему пуля плачет!..

Шеми тревожно взглянул на сидевшего в уголке Иси киши. Очень бледный, тот крепко сжимал в руках рукоять кирки – пришел сюда прямо с поля.

Один за другим люди выходили из кабинета. Не вставая, Иси киши знаком велел Шеми уйти.

– Дядя Иси! – Шеми испугано метнулся к старику. – Пошли вместе! Пошли!

– Иди, сынок, – Иси старался казаться спокойным. – Мне председателю пару слов сказать надо.

– Дядя Иси! Ради детей твоих! Идем домой!

Керим растерянно поглядел вокруг – дело принимало неприятный оборот. Лучше всего встать бы сейчас да уйти, но уходить было поздно. Он перевел взгляд на Мустафу. Тот встал и не спеша направился к двери.

– Дядя Иси, отцом тебя заклинаю – пойдем! – Шеми теребил старика за рукав. – Нужно тебе поговорить, придешь завтра, скажешь... А сейчас идем! Дядя Иси!.. – и Шеми чуть не волоком потащил его к двери.

– Ну, сукин сын, – сквозь зубы процедил Иси, – твое счастье, что парень тут оказался!.. Дал бы я тебе жизни!..

Кабинет опустел. Глубоко вздохнув, председатель достал платок, вытер пот. «Надо же!.. Они здесь, выходит, все психованные: и мужики, и старики!..»

Он взял трубку и набрал номер.

– Гюлечка? Первый у себя? Это Керим, новый председатель из Сарыгаялар. Да, да... А ты все цветешь?.. «Красная Москва!? Конечно, помню!.. Гюля, тут вот какое дело. Думаю, завтра у вас появится старик, длинный, тощий такой, волосы седые, кудрявые. Да... Ну так вот: не пускай его к первому, поняла? Да потому, что демагог и сплетник!.. Спросишь сначала, откуда, мол, вы дедушка... Ха-ха-ха!.. Тебя учить – только портить! «Красная Москва» за мной!.. Привет, Гюлечка!

Ильяс киши пришел домой сам не свой. Хотел было наколоть дров, да почувствовал – нету сил. Подошел к гнедому, провел рукой по лоснящемуся крупу, потрепал коня по холке: «Вот, какие люди-то есть... На фронт такого отправь, за спины прятаться будет. В тылу оставить – детей с женщинами не доверишь. Да хоть и без войны, хоть теперь – на что они такие нужны?.. Такой, как чирей на лбу: выдавить – больно, не выдавишь – внутрь гниль пойдет...»

Старик не находил себе места. И, странное дело, не смел подойти к невестке, вроде виноват перед ней. А в чем вина, и самому не понятно.

Послышались голоса, скрипнула калитка – вошли Шеми и Иси киши.

– Детка, гости у нас! Давай-ка самоварчик! Поднимайтесь на эйван! – Ильяс киши улыбнулся вошедшим. – Я сейчас, коня только в стойло поставлю!

Гости переглянулись.

– Веселый... – удивленно сказал Шеми.

– Это самое плохое и есть. – Иси киши вздохнул. – Надумал что-нибудь. Вот и прикидывается веселым, чтобы разговор не заводить...

Сели пить чай. Старики помалкивали, Шеми с воодушевлением рассказывал о Баку.

Ильяс киши прекрасно понимал, чего ради Шеми завел окольный разговор. Слушал, поддакивал...

Шеми допил чай. Вытер пот с лица. На минуту взгляд его задержался на лампочке, подвешенной на ветке. «Будто айва светится... Хотя нет, больше на грушу похожа...»

– Райком у нас хоть и молодой, – начал он, – но человек понимающий. Знает людям цену. Тогда, после разговора с вами, сколько дней имя ваше с языка не сходило!.. – Шеми был доволен, что удачно повел разговор.

– Он мне тогда понравился... – Иси киши в задумчивости погладил цветы на скатерти. – Грамотный мужик. И, вроде, соображает. Думаю, поговорить надо с ним....

Чтобы гнал этого дурака из деревни!..

– И прогонит! – уверенно заявил Шеми. – Запросто!

«Так-то оно так, – Ильяс киши молча подал невестке пустой стакан. – Только райком может сказать: что ж у вас, дорогие мои, выходит? Сами ругали нас, каждый год, мол, председателей меняем, а тут два месяца не прошло, снять требуете!..»

Когда Гюльзар спустилась, чтобы заварить свежего чая, старик сказал, ни к кому не обращаясь:

– Схожу завтра в райком... Посмотрим...

Гюльзар долго не могла заснуть. Обидно было, что Ильяс киши упорно не хотел при ней говорить с отцом. В первый раз в полной мере она ощутила свое одиночество – словно запрятана где-то на дне пустого колодца: никого не слышит, не видит...

И спать одной в эту ночь было как-то особенно грустно... Она встала, накинула на плечи пиджак Шахина, потом начала закутываться в него. Будто это не пиджак Шахина, будто он сам, живой, горячий, обнимает ее. Слезы навернулись на глаза. Гюльзар потерлась о пиджак щекой, сунула нос в рукав...

Засыпая, она ощущала себя маленькой-маленькой девочкой, а Шахин был такой огромный – она исчезла, пропала в его руках. Уснула...

Ильясу киши тоже не спалось, задремал было под утро, но тут заголосили петухи, и заснуть ему больше не удалось.

Когда Гюльзар встала, старика дома не было. Во дворе – тоже.

Появился он уже в полдень, когда Шелале вернулась из школы.

– Ты где пропадал, дедушка? – бросилась к нему девочка. – Гюля говорит, без чая ушел! Куда ты ходил?

– Все-то тебе нужно знать, бесенок!..

Гюльзар растелила под айвой коврик, положила тюфячок, подушки… Принесла тазик и кувшин.

– Разувайся, дедушка, ноги вымою, сразу полегче станет!..

Она делала все так споро и ловко, что старик не сумел отказаться. Стоял полуденный зной. Да еще кузнечики – от их монотонного стрекота казалось еще жарче. Навевая истому, томно ворковал голубь. Хотелось закрыть глаза и подремать...

Он, конечно, устал, крепко устал, но пусть никто не знает об этом. Ни Селим, ни Иси не должны узнать, как его сегодня приняли в райкоме.

А приняли его так.

Узнав, что он из Сарыгаялар, девушка-секретарша улыбнулась и опустила голову. «Посидите, – сказала она, – подождите немного». Он просидел два часа. Девушка вошла в кабинет секретаря и, вернувшись, сказала огорченно: «Извините, но секретарь не может вас принять. Сейчас у него товарищи из соседнего района, потом сразу совещание. Может быть, завтра придете?»

Ильяс киши молча направился к выходу, но тут что-то словно толкнуло его в спину, он обернулся – секретарша смотрела ему вслед и ухмылялась. Встретившись с ним глазами, она испугалась, спрятала усмешку и, огорченно пожав плечами, развела руки в стороны.

Ильясу киши казалось, что он получил пощечину – лицо его пылало, но удар был не по щеке, удар был в самое сердце. Опустив голову, старик торопливо шагал по улице – только бы не встретить знакомых!..

Гюльзар вытерла старику ноги, поднялась с полотенцем в руках.

– Не хлопочи, детка... Это ведь не усталость, годы это мои... Старость.

– Я сюда принесу поесть, хорошо? У меня говурма из зелени...

Говурму из зелени Ильяс киши поел с охотой. Вдоволь напился чаю. Совсем, вроде, хорошо стало на душе, но тут в памяти всплыла вчерашняя стычка с председателем, и опять старику стало плохо. «Что себе позволяет, а!.. Уши ему обкорнать, щенку!..»

Морщины гуще собрались на лбу Ильяса киши, брови нахмурились, и вдруг лицо его просветлело – перед глазами возникла именная винтовка с перламутровой инкрустацией на прикладе.

Когда собирали оружие, Ильясу киши никто не сказал, чтобы сдал винтовку, а самому это и в голову не пришло. А потом война... Мужчины ушли на фронт, а он остался с бабами да ребятишками – как было отдать винтовку? «Какой я им тогда защитник без оружия?.. Да это не просто оружие, подарок мне от советской власти».

Ильяс киши надел на босу ногу чусты и пошел в дом.

– Гюля! – крикнула Шелале. – Погляди на дедушку!.. Погляди, какой!.. – девочка захлопала в ладоши.

Гюльзар обернулась и замерла, пораженная. Ильяс киши стоял на эйване с винтовкой в руках. Прямой, стройный, на губах улыбка... Это не он! Дедушка Ильяс такой скромный, стеснительный, а у этого человека голова гордо вскинута, нос – как орлиный клюв, глаза сияют... Сухие, темные руки обожжены, ноги тоже голые до колен. Она уже забыла, что только что мыла старику ноги и сама засучила брюки; какой-то он был не такой, словно вышел из сказки...

Шелале подскочила к старику, осторожно потрогала винтовку. Снова в ветвях карагача заворковал голубь.

Прищурившись, старик поглядел на птицу.

– Смотри-ка, голубь-то без клюва!

– Как это без клюва?! Что ты, дедушка?!

Старик вскинул винтовку, грянул выстрел.

«Ой!.. – крикнула девочка. Цепляясь крыльями за ветки, голубь упал в траву. Шелале и Гюльзар подбежали к птице. Клюва у голубя не было.

– Дедуля ему клюв отстрелил!..

– Нет, – старик с улыбкой поглядел на девочку, – такой уж он уродился – без клюва!..

Старик положил винтовку в траву, а сам подошел к гнедому. Конь обрадованно затопал навстречу, подошел, потерся мордой о голую руку. «Эх, стряхнуть бы лет пятьдесят, да и тебе помолодеть бы малость!.. Проскакали бы по деревне – пыль столбом... Сразу бы все эти дурни машины свои попродавали! Дай-ка копыто – взгляну!» – Ильяс киши легонько похлопал коня по груди. Гнедой заржал и, словно желая показать старику подковы, одно за другим поднял передние копыта. Ильяс киши покачал головой. «И чего мне взбрело на ум тебя подковать. Зря только мучил!»

– Добрый день, дядя Ильяс! – послышалось с улицы.

– Добрый день... Это ты, Хашимоглу? Постой-ка!

Ильяс киши недолюбливал этого человека. Хашимоглу был водителем председательской машины. Председатели менялись часто, менялись, хотя и реже, машины председателей, а водитель оставался тот же. У Хашимоглу было незаменимое качество, позволявшее ему остаться при любом председателе – он умел держать язык за зубами. Пока председатель был на должности, никто не мог добиться от Хашимоглу, что говорит, о чем думает председатель. Но зато когда человека снимали с должно-

сти, Хашимоглу много и охотно рассказывал о нем новому председателю – всегда приятно узнать о слабостях своего предшественника.

Видя, что Ильяс киши направляется к нему, Хашимоглу подошел к ограде.

– Где сейчас председатель? – спроси его старик.

– В правлении… – сказал Хашимоглу и, скорбно понизив голос, добавил: – Я слышал, вы с ним вчера… – взглянул в лицо старику и осекся. – За ним иду – домой проводить…

– А чего ж не на машине?

– На той стороне оставил. Неохота под вашими окнами пылить…

Ильяс киши недоверчиво поглядел на парня. Тот опустил голову.

– Мы ее только покрасили. А дорога тут – вон ивы разрослись, поцарапаешь… Я его и уговорил, чтобы возле моего дома оставлять. Десяток шагов и пешочком пройдет!..

– Если ивы мешают, возьми топор да сруби! Для тебя ничего не жалко.

Хашимоглу с сожалением посмотрел на старика: всерьез или насмешки строит?.. Но слушать такое было приятно.

– Спасибо, дядя Ильяс, обойдемся. Пускай там стоит, ребятишки присматривают.

В кабинет председателя Хашимоглу вошел, улыбаясь.

– Чего это ты такой веселый? – поднимаясь из-за стола, спросил Керим.

– Да Ильяса киши сейчас видел…

– Ну и что?..

– Ушам своим не поверил!.. Будто подменили человека. Чего это ты, говорит, председателя пешком ходить заставляешь? Я ему – твои ивы, мол, мешают. Если, говорит, мешают, руби, я не против. Что ты, говорю, дядя Ильяс, разве председатель позволит – он человек культурный!.. Просто, говорю, ты ему под горячую руку попал…

– Постой, постой! – Керим подошел к столу, взял телефонную трубку. – Алло, Гюлечка? Да, я председатель из Сарыгаялар!.. «Красную Москву»? Конечно, помню. За мной «Москва». Приходил? Так … Утром? Ясно… Ха-ха-ха!.. Значит, отправился несолоно хлебавши? Молодец, Гюлечка, цены тебе нет! Нет, милая, я друзей не забываю! Будь здорова! – он положил трубку, улыбнулся, покрутил головой… – Вот так, Хашимоглу! Только так. Люди должны одного старшего над собой знать, одного бояться. А у вас только и слышишь: Ильяс киши, Ильяс киши!.. Подумаешь, пятьдесят лет тому назад с винтовкой по горам скакал!.. Доведись нам с тобой, может, и не хуже скакали бы!..

– А Ильяс – вон он, опять у ворот стоит… – заметил Хашимоглу, когда они вышли на улицу.

– Пусть себе!.. – беззаботно бросил Керим, однако замедлил шаг. Поравнялись. Непохоже, чтобы собирался здороваться. Хашимоглу заметил, вроде он какой-то не такой… Глаза какие чудные…

– Добрый вечер, дядя Ильяс! – сказал Хашимоглу.

Старик не ответил. Все его внимание было сосредоточено на председательских ушах. «Так… Блестят, это хорошо, лучше видно… Пройди малость вперед… Вот так… Теперь повернись… Ко мне лицом!.. Ну, повернись же!»

– Ильяс киши, – сказал председатель, задетый тем, что старик не собирается

с ним здороваться, – говорят, ты в райкоме побывал? И как там тебя секретарь встретил, а? Если завтра надумаешь… – он повернулся к старику и увидел сверкающий взгляд и отверстие винтовочного дула.

Раздался выстрел. Керим почувствовал, что оглох, потом куда-то провалилось сердце, и земля стала уходить из-под ног. Он рухнул на землю.

– Дядя Ильяс… Дядя Ильяс!.. – вытаращив глаза, лепетал Хашимоглу. – Пощади! Ради твоего Шахина! Детишки маленькие… Я тут ни при чем!.. Этот сукин сын…

Ильяс киши недоуменно взглянул на Хашимоглу. Казалось, он только сейчас пришел в себя.

– Нужен ты мне!.. Лучше поди да водички принеси! В чувство привести!.. – он повернулся, прошел несколько шагов. – Да штаны не забудь сменить… Мужчина! – Ильяс киши больше он не оглядывался.

Вокруг распростертого на земле председателя уже толпился народ.

– Помер?!

– Живой?!

– Без памяти просто…

– Сердце зашлось от испугу…

– Воды ему дать! Воды!..

Председатель поднял веки, повел вокруг мутными глазами…

– Хватайте его! – закричал он, даже не пытаясь сесть. – Уйдет!

Люди молчали.

Бухгалтер сунул ему руку под голову, поднес к губам стакан с водой.

– На вот, попей… И успокойся, ничего с тобой не случилось. Ухо поцарапано…

Председатель еще лежал в пыли посреди дороги, а о покушении на него знали все, даже те, кто работал в поле.

***

Селим киши как пришел из правления, лег и сразу же заснул.

Проснулся он поздно и, лежа под марлевым пологом на стоявшей в саду деревянной кровати, опять начал вспоминать прошлое.

Считай, обреченными были они тогда, к смерти приговоренными. Отряд Гара Мамиша рос с каждым днем, кольцо сжималось день ото дня. И пришел Ильяс. Знал, что рискует головой, что для Сарытеля он больше не друг, а кровник, а пришел… Спасти их.

Раздался выстрел. Селим киши рывком сел в постели. Солнце уже высоко. Рядом стоит завтрак, прикрытый газетой… Будить его невестки не осмеливались, проснется – поест. Три сына, три невестки, – все здесь в одном дворе. Внуков уже восемнадцать штук, не всех и по имени-то знает, последние чего-то никак не вспоминаются… Старший из внуков, Рустам, с детства запал в душу. На пенсию уходил, «Москвича» купил парню…

– Сынок, – позвал Селим киши сидевшего на айване Рустама. – Что это за стрельба?..

– Поехать, посмотреть? – Рустам вскочил, торопливо дожевывая кусок.

– Давай, поглядишь и обратно. Никуда не уезжай, понадобишься. Пятизарядка… – пробормотал старик и, покачав головой, взял с тарелки газету.

Поел немного, сам не понимая, что жует. Велел, чтобы убрали. Что-то надо делать, а вот что?.. Раздался второй выстрел. Старик кубарем скатился с постели.

«Точно, пятизарядка! Давеча со сна не разобрал!.. Она!.. – Селим киши доковылял до ворот, выглянул, вроде, тихо… Хотел было уже вернуться, но тут со стороны правления послышались голоса, крики… – И парень куда-то провалился, чтоб ему!.. Нет… Едет…»

– Дедушка! – резко затормозив, крикнул Рустам. – Ильяс киши в председателя стрелял! Садись!

– Знаю! – Селим киши без сил опустился на сиденье.

Он сам поразился тому, что сказал: «знаю». Откуда знал? Но знал.

– С чего это он? – спросил Селим киши. Так спросил, для порядка.

– Не понял я… Председатель из правления шел… А дедушка Ильяс вышел навстречу и… Возле самого своего дома…

– Убил?

– Нет… Хасан рядом стоял, говорит, ухо задето. И волосы опалило. А он без памяти… Такой мужчина из-за царапины в пыли валяется!..

– Со страху… Ладно, давай к Ильясу. Да помалкивай, больше на дорогу гляди!

Машина остановилась. Подбежала Шелале.

– Дедушка Ильяс ушел, – зачастила она, сунув голову в окошко машины, – и ружье с собой взял… В ту сторону пошел… Туда!..

Селим киши тронул внука за плечо.

– Давай, сейчас догоним… А ты не бойся, – сказал он, обернувшись к девочке. – Только из дому никуда. Слышишь?

Девочка кивнула

Ильяса догнали они уже за мостом. Он молча кивнул Селиму и, не говоря ни слова, сел рядом. Винтовку он положил на переднее сиденье, но Рустам так покосился на него, что Ильяс киши усмехнулся и переложил ружье к себе.

– Незаряженное… Взял, чтобы сдать…

Ниса, узнав о случившемся, со всех ног бросилась к дому Ильяса.

«Чтоб они все пропали!.. Девочка, небось, напугалась до смерти!..»

Добежав, она первым делом попросила воды.

– Совсем сердце зашлось… Такое на нашу голову!.. А Иси как узнал – с вечера сам не свой сделался, места себе не находил. Голову, говорит, даю на отсечение, быть беде!.. Убил, кричат!.. Ничего он ему не сделал, подумаешь, ухо оцарапал!.. Он же сказал, уши тебе укоротить надо… А у Ильяса сказано – сделано!..

Ильяс киши сидел, опустив голову. Селим не спускал глаз с прокурора. А тот все молчал, перебирая на столе бумаги, и казался растерянным...

– Вы можете подтвердить, что пуля только задела ухо? – спросил он наконец Селима киши.

– Да, – Селим киши утвердительно кивнул, – царапина, будто колючкой… Еще волосы малость опалил.

Когда Селим произнес «еще», Ильяс киши встревоженно поднял голову.

– Значит, опалил? – сокрушенно сказал он. – Глаза подвели. Стар стал…

– Вы очень плохо поступили, Ильяс киши! – сказал прокурор, с трудом удержавшись от смеха. – Поставили нас в тяжелейшее положение. Если вас оскорбили, вы должны были пойти к секретарю райкома.

– Я приходил… – слова эти вырвались у Ильяса киши помимо его воли. Селим удивленно посмотрел на него.

– Когда? – спросил прокурор.

– Сегодня… С утра…

– И что ж секретарь вам сказал?

– Ничего… Прождал два часа. Девушка эта… что у двери сидит, люди, говорит, у него. Потом сказала, что будет совещание, и он не успеет меня принять.

– Этого не может быть! Он не мог вас не принять!..

Зазвонил телефон. Прокурор взял трубку.

– Алло! Где? В Сарыгаялар? На розыски? Не нужно розысков, он здесь, у меня. Да, сам явился.

Прокурор положил трубку, снова поднял, набрал номер.

– Товарищ секретарь райкома? Да, я… В курсе… Скажите, было утром у вас совещание? Ну да. Ильяс киши приходил к вам. Значит, просто не сказала… Понимаете, товарищ секретарь…

Дальше Ильяс киши уже ничего не слышал, в голове зазвенело, перед глазами встало наглое ухмыляющееся лицо. «Такая мозглявка … над старым человеком!..»

Отворилась дверь, и в кабинете появились Шеми и Иси киши. Вошли и остановились.

– Что вам нужно? – недовольно спросил прокурор. – Кто вы?

– Мы из Сарыгаялар. Я – Шеми, бригадир тракторной бригады, а этот – Иси-киши…

– Да, да… Я помню… Что вы хотите?

– Мы хотим… Мы за дедушкой Ильясом. Без него не уедем!..

– Это что за разговор? Вас вызывали?..

– Нет, мы сами… Мы подождем. Нам где подождать? Во дворе?..

– Нигде! – прокурор повысил голос. – Вам здесь нечего делать!

– Так мы же..

Селим-киши бросил на Шеми недовольный взгляд. Тот опустил голову.

– Ладно! – махнул рукой прокурор. – Садитесь. Только заступничество ваше не нужно. Мы знаем и уважаем Ильяса киши не меньше вас. Но пуля могла угодить в голову!

– Не могла! – твердо сказал Ильяс киши.

– Почему? Какие-нибудь два сантиметра!..

– Ухо что – больше головы? – Ильяс киши удивленно взглянул на прокурора, как можно не понимать такие вещи. – Хотел бы в голову, в голову целился бы. Мне ухо нужно было!..

Дверь отворилась. Вошел статный молодой человек.

– Товарищ прокурор, следователь Джафаров явился…

Прокурор знаком прервал его.

– Дядя Ильяс, подождите, пожалуйста, в коридоре.

Все направились к двери. Селим киши встал, подошел к двери, плотно притворил ее и подошел к прокурору.

– Сынок! Председатель позволил себе такое, что только кровью смыть! Раньше за такие слова головы не сносить бы! Он честь задел! А советская власть не позволяет человека унижать. Мы хотим высоко держать голову! Словом, уеду я только с Ильясом!

– Хорошо, хорошо!.. – с досадой произнес прокурор. – Не волнуйтесь, дедушка! Подождите в коридоре.

– Тебе придется заняться этим делом, – прокурор озабоченно посмотрел на молодого следователя. – Имей в виду, каждое слово этого Ильяса киши – правда. Такие не лгут. Отпусти его на поруки, отдохнет пару дней, потом вызовешь…

Снова зазвонил телефон.

– Слушаю, товарищ секретарь! Так… Значит, предупредил секретаршу, чтобы не пускала к вам?! Ясно! Чтобы оскорбить старика! Ясно! Совершенно ясно! – Прокурор положил трубку. – Прежде всего надо поговорить с этой девицей и с пострадавшим. Устрой им очную ставку!..

***

Когда старики вернулись в деревню, уже темнело. Селим довез Ильяса киши до дома, но из машины не вышел.

– Голова побаливает… Да и спать пора…

– И то правда, – Ильяс киши шутливо покачал головой. – Сна тебя сегодня лишили. Дремал бы себе весь день.

– Все из-за тебя, безобразника!.. – Селим исподлобья взглянул на Ильяса, пряча в усах улыбку. Тронул за плечо внука: – Поехали!

Дома он сразу лег. Велел внуку растереть себе спину, потом сказал, чтобы позвал отца и обоих дядьев. Сыновья явились все сразу и сели возле отца.

Селим киши долго лежал молча, уставившись взглядом в какую-то точку на потолке. Боль не давала вымолвить слова, шевельнуться. В груди резало, как ножом, отдавало в лопатку, в руку… Казалось, это боль держит его глаза устремленными в одну точку. Чтобы хоть немножко отвлечься от боли, старик попытался вспомнить что-нибудь. Вспомнил. Вспомнил, как тогда в горах совсем они пропадали, все теснее сжималось вокруг них кольцо… Пришел Ильяс… Нет, от этой проклятой боли ничего не помогает! Старик закрыл глаза, снова открыл… На сыновей он не смотрел. Те тоже отводили глаза – знали, что если отец не смотрит, значит, сердится.

– Стыдно мне было сегодня за вас. Очень стыдно. В такую минуту не было моих сыновей рядом с Ильясом..

– Отец… – старший несмело поднял голову. – Зачем мы, когда ты там? Мы, было, хотели… Да решили, рассердишься…

– Ну вот, вроде и боль потише…

Селим скользнул взглядом по лицам сыновей. Усмехнулся. Подумал: «Здоровые мужики, а сидят, как нашкодившие мальчишки!»

– Ладно, может, и правильно… Пока я жив. А помру, не бросать Ильяса – поняли мой наказ?! Старость – штука паршивая, всех гнетет, а он прямой, как тополь!.. И не давайте, чтобы согнули!.. Мертвеца на кладбище отнесли – невелика заслуга. Живому помощь нужна. Навестить, приветить, доброе слово сказать. Ну, ладно, спать хочу…

Это означало, что сыновья могут уйти. Они на цыпочках вышли из комнаты.

Не сон одолевал старого Селима, не мог он больше говорить. Черное пятно на потолке то исчезало, то становилось гуще, чернее… Потом пятен стало много-много, они слились в один огромный круг, и этот огромный черный круг то опускался, то вновь прилеплялся к потолку…

… Утром Ильяса киши разбудили громкие голоса. Он вышел на айван. На айване рыдал Рустам.

– Дедушка Ильяс!.. Умер!.. Наш дедушка умер!

– Ты что?! – Ильяс киши подскочил к парню. – Что ты сказал?!

Рустам отшатнулся, испуганный его взглядом.

– Я пришел… Думаю, разбужу – во дворе ему постелем на тахте… Посмотрел, а он… – договорить Рустам не мог. Губы задрожали, рыдания вырвались из груди…

– Ладно, сынок, иди… Я сейчас… – Ильяс киши замолчал. «Спокойно, Ильяс!.. Стой прямо! Ноги!.. Не держат, проклятые! Стой! Так. Теперь вниз спускайся! А как спускаться? Как ноги ставить, пытаясь вспомнить, как надо ставить их, чтобы спуститься. Возьми себя в руки, Ильяс! Девочка смотрит!.. Невестка смотрит!.. Держись, Ильяс!..»

***

Гюльзар весь день не могла закончить письмо. Писала, выбрасывала, снова принималась писать. Никак не получалось про дедушку. В конце концов вышло так:

«У дедушки все в порядке! Чувствует себя хорошо, настроение прекрасное! У меня тоже все хорошо! И у папы с мамой! Остальное место я оставляю чистым – это для восклицательных знаков! Береги себя! Одевайся потеплее! А ну их, эти восклицательные знаки! Целую тебя тысячу раз!..»

Тело уже готовились опустить в могилу, а Ильяс киши все стоял, все повторял, не отрывая глаз: «Встань, Селим! Встань!» Ему казалось, что если он сто раз повторит «Встань!», Селим обязательно встанет. Он успел сказать эти слова сто тридцать раз…

Чтобы не видеть, как тело опускают в могилу, Ильяс киши ушел на другой конец кладбища. Поднялся на скалу над речкой.

Стали расходиться. Хотели было позвать Ильяса киши, но Иси киши сделал знак: «Не трогайте»

Дождавшись, когда кладбище опустело, Ильяс киши спустился вниз, подошел к могиле, встал у ее изголовья.

– Эх, Селим!.. – помолчав, сказал он. – Разве друзья так делают?.. Бросил меня. Одно тебе оправдание – скоро вместе будем.

Он еще постоял немного и неспеша зашагал к деревне – высокий, прямой, статный…

НУРАНГИЗ ГЮН

СОН

Однажды ночью,
распахнув двери моего сна,
раздвинув черные, непроглядные шторы,
ты вошел внутрь.
Во сне моем
струился родник.
Уставшим ты был,
мучился жаждой,
присел
и выпил воды.
Затем вытер
капли усталости со лба
и стряхнул на пол.
А дальше,
отвернув от меня лицо,
протянул руки
и вынес меня
на свет,
На лунный свет!
Знобило от света нас обоих, не так ли?
Но и ты, и я, и луна были счастливы...
Наутро
я обнимала свой сон,
крепко-накрепко сжимала в ладонях...

МНЕ ХОЛОДНО, СОЛНЦЕ...

Солнце!.. Мне холодно.
Мне невмоготу глядеть на смиренный
одинокий корабль, плывущий к полюсу.
Порой меня пробирает дрожь
оттого, что жестокий охотник
стреляет в небо, где веют крылья свободно.
...О, мое Солнце! Ты так часто мне снишься!
Однажды, в грезах
целуясь с тобою,
я шепнула в объятьях:
Мой ненаглядный! Жаркий, громадный!
Меня защити!..
Зловещим мне видится всё.
Возьми меня отсюда.
Забери, забери!.....
Тут, на Земле, мне так холодно, Солнце!

УНЕСИ МЕНЯ С СОБОЮ

Я иду к реке проточной, чтоб сказать ей:
Стань мне не разлей вода,
Заключи меня в объятья
И с собою унеси.

Я иду к реке проточной, чтоб сказать ей:
Я тоскую здесь, неродная никому.
В русло дальнее свое унеси меня,
И ракушками, кораллами прикрой,
Забери меня с собой.
Вся душа моя тоскует…

Унеси в глубины моря,
Прошепчи ему…то слово.
И скажи, что меж тобой и небом сохранится то,
Чем с тобою поделилась напоследок.

Унеси меня, река…
Забери и унеси,
От чужих людей устала, стань мне домом,
Сердцу хочется прохлады…

Унеси, унеси меня с собой!
Вся душа ушла в печаль.
Унеси меня, река!
Унеси с собою вдаль…

КРАСОТА ТИШИНЫ

В тишине таится шорох…
В тишине печальная ива
Нашептывала что-то проточной реке,
Что-то ей говорила.

…А в моей душе в тот миг
Стонали сиротливо струны
Позабытого древнего уда,
И стоял в горле ком, и слезы в глазах
Стонали прерывно, колыбельная словно…

…Я поняла.
Это – красота тишины
Изумляет…
Она – дар на вечную память
Мне, моей душе от самого Творца,
Негасимый трепет!..

Ах, в тишине таится шорох…

НА ЗАРЕ

В тот миг,
Когда занялась заря,
Розы всплакнули
Вместе со мной.

В тот миг,
Когда занялась заря,
Мы оплакали муку,
Скрытую в прекрасном рассвете.
Оплакали, оплакали мы
Блуждающие вздохи,
Что из праха взошли
И шепчут небесно.

В тот миг
Розы, оставшиеся без садовника,
Вздрогнули пуще меня
В объятьях моих,
Видя покинутость
Одиноких кустов...

И в этот же миг
Пролили бальзам на мою сердечную рану
Любовь, кручина, тоска
Далеких звуков минорных!..
Ох, на заре...

МИГ РАЗЛУКИ

...Твоя рука выпала из моей.
Журавлиный стон
вырвался из груди.
Вырвался, оставшись один,
дожив до седин?
Вырвался из самых глубин.
Очень меня напугал!
Заметался, бил крылами, трепыхался.
Гикнул, шел кругами и устал.
И на облаках повис.

Вот тогда
капля голубая
Из бездонного неба упала вниз
на мои уста.
Обожгла, как соленая слеза.
Ни реке, ни озеру, ни морю
Никогда не смыть эту соль.
Ни голосу, ни крику, ни воплю
Не унять эту боль.

ПОЗАБЫЛА Я ВЕСЬ МИР

Господи, прости меня,
Позабыла я весь мир.
Небо где, а где земля?
Люди где, сама где я?
Лишь побледневший лик
Христа во время крестных мук
Стоит перед очами
И снится мне ночами.
И восклик страстотерпца
«Душа моя исполнена печали»
Тоскливым звоном теребит мой слух.
А мир, как прежде, слеп и глух...

О, ДУША МОЯ, ОБИТЕЛЬ СКОРБИ!

...Не отстанет от меня
Тишина немая,
Что бросила якорь у перил.
Плетет для меня
Новые сети,
Заманивая сладкоголосо.

Вот боль разлуки!
Охватила наши души.
О, душа моя, обитель скорби!
Однажды ночью
Эта тишина немая
Убьет нас обеих...

МОЯ ЛЮБОВЬ

Моя любовь – могучий ветер,
Сильнее ветер всех преград.
Живет она в весеннем свете,
И каждый тому свету рад.
Моя любовь парит, как птица,
Не ведая, что значит гнёт.
Моя любовь в душе хранится
И весть благую всем несёт.
Моя любовь – зари покой,
И пахнущий цветами бриз.
Моя любовь – скакун гнедой,
Что мчится радостно в Тебриз.
Моя любовь – огонь и пламя,
Согреет тех, кто наг и сир.
Моя любовь растопит камень –
Дарю ее тебе, о, Мир!..

ПОТЕРЯЛА

Свет я потеряла
в маминых глазах.
Баяты я потеряла
в маминых словах.
Сказку потеряла
на маминых устах.
Я лучину потеряла
в маминых краях.
Люльку потеряла
на маминых руках.
Жизнь я растеряла
на маминых путях...

Перевод Ниджата Мамедова

ЭСМИРА ФУАД

МНЕ ХВАТИТ ЛИШЬ ТОГО, ЧТОБ ЖИЛИ МОИ СТИХИ...

Я не падка до славы,
Шумиха славы меня утомила.
Никогда насильно ничего
не получала,
Вот такой я человек.
Не хочу ни криков,
ни славословий,
Не хочу ни капельки славы.
Не хочу! Пусть блестит
себе в сторонке.
Мне хватит лишь того,
чтоб жили мои стихи
– мой голос,
И касались нежностью
нежных сердец,
Больше ничего не хочу,
ей-богу, мне этого хватит…

Добровольно отказавшаяся от славы, прожившая всю свою жизнь в стремлении построить свой мир и завоевавшая многие сердца Нурангиз Гулубекова – Гюн родилась в 1938-м году в городе Баку в семье интеллигентов. Она окончила Бакинскую Медицинскую Школу №1. Но, как и великого Шахрияра, медицина не смогла хоть как-то заинтересовать юную девушку, и волнение ее души, неумолкающая и пламенная любовь к искусству привели ее в Университет Искусств имени М.А. Алиева… С 1960-го по 1974-ый год она мастерски работала диктором в Азербайджанском Комитете Теле и Радио Передач. Но, спустя годы, не желая утомлять армию фанатов, которые собирались перед воротами телевидения в жажде хотя бы мельком увидеть своего кумира, желая остаться в их памяти такой, какой она была – молодой, красивой и притягательной, она покинула свою привлекательную в глазах многих работу на телевидении и решила заняться преподаванием дикции и культуры речи в Университете Культуры и Искусств..

Бесконечная любовь к родине, свободолюбие, дух непримиримой борьбы и завораживающая неповторимая искренность ее произведений рождают вопрос: может, ее добровольный уход с любимой работы без каких-либо объяснений связан с тем, что она устала озвучивать новости, не приходящиеся ей по душе?

Народный поэт Сабир Рустамханлы в предисловии к книге поэтессы «Я иду по пути» пишет: «Мы не знали, что Нурангиз Гулубекова – жемчужина Азербайджанского телевидения, покорившая сердца зрителей нежным голосом, ясным произношением, изысканными манерами, профессионализмом и красотой, занимается вдобавок литературным творчеством. Она сама была блистательным произведением, каждый день вступающим в наши дома как самый желанный гость, прекрасным стихотворением Творца. Почему-то в те годы Нурангиз ханым казалась мне беззаботным человеком, не ведающим горя, она напоминала принцессу, сошедшую с миниатюр или египетских папирусов, чьи миндалевидные глаза лучились вечным счастьем…»

По сути, это являлось тайным воспеванием свободного духа поэтессы, прославлением ее независимости, которая, возможно, не была еще полностью осознана даже самим автором, а только интуитивно прочувствована!..

По прошествии времени оказалось, что Нурангиз Гюн и вправду словно дочь небесного Солнца – свободная и независимая, гордая и непокорная…

Именно потому на протяжении всего своего творчества она смогла уберечь свою свободу, искренне выражать свои меткие мысли, не допускала лжи, двуличия, фальши и лести, была далека от искусственного пафоса, писала только лишь правду. Пороки общества, недостатки, нравственные изъяны, боль по Гарабаху, забывчивость, предательство, равнодушие к национальным проблемам, безразличие к нашему родному языку в какой бы то ни было сфере никогда не ускользали от ее взгляда… В такие моменты она обращалась к чистым, безгрешным созданиям природы, и делилась с ними наболевшим, передавала свои послания… Она даже просила у Горлицы, которую воспевала (*«Одинокая моя горлица! Молчаливая детка! Пчелка моя и Светлячок!»*), прощения за тех, кто творит всю эту несправедливость, за своих соплеменников, *«вносящих зло в добро»*, *«привечающих плохих и отгоняющих хороших»*:

Не каждая нитка с жемчугом есть жизнь,
Не каждое терпение вытерпеть!
Прости!
Мы обманули, обманывали, отвернулись,
В одном – зажглись, в другом – угасли.
Не думала, что настолько мы неверны!
Прости!
Привечали плохое, отгоняли хорошее,
А порой, вносили зло в добро,
Вот так и пролетела жизнь!
Как птица!
Мы позабыли путь любви!
Мы сгубили нежные цветы!
Прости!
Прости!

Нурангиз Гюн оставила неизгладимый след в истории литературы как модернистский поэт нашего времени. А специфика модерна заключается в создании собственной истины. Она шла путем создавшего свою истину Назыма Хикмета, считающегося великим

поэтом в литературном сообществе. Стихами, выражающими новаторские темы, мотивы, образы и мысли, она смело и с верой в себя создавала собственные истины…

Ее любовь к Родине, похожая на ветер, не знающий преград, на радостную весну, не ограничивалась лишь Северным Азербайджаном, в ее истекающих прямо из сердца стихах эта любовь шествовала прямо до Тебриза и становилась цельной в первой колыбели тюрка, в древнем родном краю… В стихотворение «Моя любовь» слышится эхо этой цельности:

Моя любовь – скакун гнедой,
Что мчится радостно в Тебриз.
Моя любовь – огонь и пламя,
Согреет тех, кто наг и сир.
Моя любовь растопит камень –
Дарю ее тебе, о, Мир!..

Безграничной была любовь читателей к поэтессе, взошедшей в горизонте современной азербайджанской поэзии, точно Солнце, к поэтессе, обращающейся к небесам со словами: *«Благодарю тебя, Боже, за то, что даровал мне человеколюбие! За это стоит жить и не губить в себе оптимизм…»* И, продолжая мысль поэта, хочу добавить: стоит жить и умереть, имея в душе такую любовь…

Дитятко! Открой дверь, это я.
Принесла боль в груди и боль в голове…
Видишь, нет у меня рогов.
Были бы рога, я принесла бы не траву, а Коня и жизнь,
Конь скачет ввысь, а жизнь точно крылатая сказка!..
Принесла бы Коня, принесла бы жизнь.

Невоплощенные мечты поэтессы привели к тому, что в ее сердце поселилась боль и она, *«белоснежный цветок»*, зачахла от тяжести этой боли, от тяжести этого груза… В конце концов, эта боль превратила ее в *«комнатного мотылька и человека, находящегося под домашним арестом»*… Хотя были времена, когда ей хотелось исхлестать хлыстом серую пустоту, всю подлость, пустопорожних людей, вызывающих тоску:

Пустая тишина, совершенно пустая…
В пустоте ни любви, ни ненависти, ни счастья,
Ни чувств, ни голоса!
Я была на скакуне. Так где же он? Где же мой кнут?
Пусть скакун мой достанется вам. Но верните мне кнут!
Хочу исхлестать
Эту пустоту!

В интервью сайту Lent.az Нурангиз-ханым дает прямой ответ на причины своего затворничества, начавшегося с пятидесятилетнего возраста:

«Я всегда жила, охваченная думами и заботами. В 1937-м году погибла вся моя семья. Мы потеряли моего деда Мирзу Алекпера Гаджизаде Эфенди. Он был знаменитым врачом и служил людям безвозмездно. Потеря близких тяжела для меня. Потом я потеряла отца, мать и брата. Лишь я сама зна, какую скорбь и печаль испытала без них. Но я никогда никому не давала ничего почувствовать. Я не имею права кого-либо нагружать. Я очень привязана к дому. Я как комнатный мотылек, как человек, находящийся под домашним арестом. Я сама решила жить таким образом…»

Вот так, развесив по стенам своего дома портреты родных, которых потеряла, она беседовала с ними, делилась наболевшим и возвращалась в свое прошлое, в минувшие дни, пролетевшие в мгновении ока. Она часто печалилась оттого, что не смогла прожить жизнь, о которой мечтала и которой была достойна, точно *«крылатую сказку»*. Нурангиз Гюн – само воплощение искренности, спокойно и безмолвно принимавшая несправедливую игру, ведущуюся против нее судьбой, всегда смело высказывающая свои мысли, так же искренне говорит о своем оборвавшемся счастье:

«Однажды брат взглянул на меня и сказал, что я достойна всех радостей и счастья. Он прекрасно меня чувствовал и прекрасно видел, кто носит на голове корону счастья… Только сейчас я всё понимаю. Наверное, так было суждено… А еще я в те времена ничего ведь для себя не искала…»

Разве только в те времена? Нет, нисколько! Она всю свою жизнь ничего не искала, ни за чем не бегала, ждала, когда в один из прекрасных дней счастье само найдет ее… Ведь она знала, хорошо понимала, что достойна всех радостей и счастья…

Но ее гордость и достоинство всегда сопровождали ее и не давали этой женщине, с уст которой не сходила улыбка, а в глазах жила печаль, совершить неуместный шаг… Она безмолвно шла по своему пути и пядь за пядью шла к Солнцу, чье имя гордо носила, шла до тех пор, пока сама не *«обратилась в путь»*…

В волосах ветер, в душе колыбельная,
В голове поверженная любовь…
Иду по пути, пока не устану.
Впереди гряда гор, отвесные скалы, холодное море,
Одна-одинешенька в закатный час
Я иду по пути, пока не угасну.
Позади меня спуски, на плече солнечный луч,
В объятьях держу дочь и трепет,
Иду по пути, пока сама не обращусь в путь.

Да, именно так… Сегодня она сама указывает путь молодым авторам, взявшимся за перо и вступившим в литературный мир, она сама становится путем, по которому следуют.

Я всегда придерживалась того мнения, что в имени человека скрываются тайны, связанные с характером и деяниями носителя. Перелистывая страницы жизни этой прекрасной женщины, в чьем имени скрывается свет, а литературный псевдоним означает Солнце, я в очередной раз убедилась в абсолютной верности своего мнения…

Нурангиз Гюн очень любила просыпаться спозаранку, раньше всех, и приветствовать Солнце. Когда было пасмурно и не выглядывало Солнце, ей становилось тоскливо на душе. И конечно, ее преданная любовь к Солнцу, вера в его первичность столь глубоко впитались в ее стихи, что читатель не может не заметить эту характерную черту поэта:

У этой земли сначала родилось Солнце,
Эта земля замешана на желтых лучах.
Предком этой земли было Солнце.
Клятва моя, мой Бог, моя вера!

Конечно, назвать себя «Древом света» может только безумно любящая Солнце и прибегающая к защите его лучей поэтесса с тюркскими корнями, поэтесса, оправдывающая смысл частицы «Нур» в своем имени своими поступками, называющая небо – Творцом, так же безумно любящая землю, небо, мать-природу, ее дары, ненавидящая

охотников, отлавливающих украшение природы – птиц, называющая этих птиц *«своей жизнью»*. Она печалится от того, что цветы срывают, оценивает Женский день 8 марта как день гибели цветов, и в этот день даже не поднимает трубку телефона, чтобы никто не вздумал срывать цветы, желая поздравить ее с праздником…

Нурангиз Гюн назвала свой первый опыт в прозе «Творцом», ее следующие книги, все ее поэтическое творчество, – тоже обращены к небесам – Солнечному Богу, кроме «Ходжалинской симфонии»…

По сути, в «Ходжалинской симфонии» автор тоже обращается к Творцу, раскрывает в мольбе руки, но несколько иначе… Ибо она написала это произведение с болью по оккупированным территориям, по раненному, раздробленному отчему краю. Ее искренний патриотизм, чуткость к людской боли, переживание горестей невинных соплеменников как личное горе, бунт против жестокости и зверства, ненависть к политическим воротилам, играющим с людскими жизнями, ясно прочитываются в этой поэме, а гуманизм заставляет задуматься…

«Я пришла в литературу, пришла к читателю без стеснений. Один Бог знает, что я испытывала, когда писала каждую строку… Я хочу всех видеть счастливыми, и больше всего видеть счастливой свою Родину», – правда, искренность и боль этих слов вливаются в душу читателя «Ходжалинской симфонии».

Несомненно, «Ходжалинская симфония» – произведение, сознательно ведущее борьбу против несправедливостей и жестокости во всем мире. Часто стихи, замешанные на самой сути человечности, становились революционными гимнами.

Казалось, у нее больше не осталось сил слушать стенанья наших потерянных земель, иссякало терпение оттого, что запаздывает долгожданная весть об освобождении оккупированного Гарабаха… Ее стихи, в которых прочитывается глубокая любовь к Родине, поэма «Ходжалинская симфония» дают право высказать эту мысль.

Книги Нурангиз Гюн «Творец – дитя человечества» (Повесть и рассказ. Баку – «Гянджлик», 1984), «Белые крылья» (Стихи и поэма. Баку – «Язычы», 1986), «Молитва Солнцу» (Стихи и поэма. Баку – «Язычы», 1990), «Иду по пути» (Стихи и поэмы. Баку – «Адильоглу», 2004), «Оставшимся» (Стихи. Баку – Мутарджим, 2015) дарят нашему миру свободу, искренность, надежду, печаль и любовь, в этих книгах отчетливо просматривается неповторимый образ самой Нурангиз Гюн, напоминающей о любви, пропавшей на чужбине времени. Чуткий читатель посредством этих оригинальных стихотворений ближе узнал и полюбил их неповторимого автора…

Она была неповторима, отличалась от остальных, была чиста и прозрачна точно родниковая вода, не боялась высказывать свои свободолюбивые мысли, и никогда в жизни не умела входить в роль, надевать личину. Любила предельно искренне беседовать с понравившимся ей человеком, с которым она ощущала духовное родство. И она находилась выше человеческой любви и рутины. Она достигла этой высоты, убегая от земной помпезности, лжи и двуличия. Причины этого побега легко можно найти в стихотворении «Убегаю», написанном в 1980-м году:

Убегаю от славословий, пышных комнат, –
Из дворцов!
Убегаю от лживых улыбок, фальшивых поцелуев,
Встреч, где говорят за спиной!
Убегаю от рук, держащих топор, извилистых путей,
Шума, гама и обмана!
Убегаю я от «ветра», отнимающего счастье мое
И дающего его другому!

Весной 1981-го года в четвертом номере журнала «Улдуз» был напечатан «Творец – дитя человечества» – повесть Нурангиз Гюн. Это оказалось для многих неожиданным, повесть встретили с глубокой симпатией и интересом и она вызвала большой резонанс. Естественно, не только острый и драматический сюжет, необычная и в то же время привычная тема произведения вели читателя страница за страницей. Любовь читателя к повести и ее автору обуславливали также эпичность с неповторимой повествовательной манерой, бесподобно глубокая искренность, тенденция прямого обращения к читателю и желание раскрыть перед ним все тайники сердца и души, стилистическое новаторство.

Повесть «Творец – дитя человечества» стала неоспоримым доказательством того, что Нурангиз Гюн, известная и любимая до 1980-х годов в качестве поэта, обладает большим талантом и в качестве прозаика. Примечательно и то, что вопросы, темы и мотивы, которые Нурангиз Гюн поднимала в своих стихотворениях, не повторились в ее прозе. Наоборот, «новаторство в рассмотрении жизни и способах выражения» углубило первое впечатление, вызванное повестью «Творец – дитя человечества».

Таким образом, начиная с 1981-го года стихи и поэмы писательницы, ее прозаические произведения систематически печатались в таких газетах и журналах, как «Азербайджан», «Литературный Азербайджан», альманах «Гобустан», «Улдуз», «Природа Азербайджана», «Молодежь Азербайджана», «Коммунист», «Вышка», «Бакинский рабочий», «Баку», а впоследствии – в газетах «Айдынлыг», «Улус», «Эдалят», «525-ая Газета», «Гюнай», «Хуррийет», «Азадлыг», «Мусават» и т.д. В то же время были изданы ее крупные произведения – поэмы «Последний сон столетия», «Белые крылья», «Счастливо оставаться, путь Агджи», «Ветры Северного Кыбрыса», «Снежный роман», «Ходжалинская симфония», цикл сонетов «Вечное и неповторимое», «Самый высокий цветочный холм и снежный колодец», «Красная ночь»…

Примечательно, что после издания повести «Творец – дитя человечества», которое «своим лирико-эмоциональным настроением, запоминающимися образами и эпико-драматическим сюжетом является настоящим образцом прозы», подтверждение мыслей поэта С. Рустамханлы, увидевшего и прочувствовавшего в Нурангиз Гюн настоящего знатока культуры и патриота своей родины и нации, ценителя истинного художественного слова, мы находим и в статье «Болящее сердце» (газета «Литература и Искусство», 15 мая 1987-го года) народного писателя, выдающегося общественного деятеля Мирзы Ибрагимова: «Если в произведении слышится биение сердца писателя, чувствуется горечь и сладость его глубинных желаний и тоски, то читатель не может оставаться к такому произведению равнодушным. Это качество в особенности действенно в таких произведениях, сюжет которых больше строится не на внешних конфликтах, а внутренних, на психологических мотивах и противоречиях. Нурангиз ханым с любовью описывает свою героиню (по сути, создает собственный образ). Она так живо воссоздает свое тоскливое, задумчивое, растерянное и тревожное состояние в вагоне, свой внутренний мир, что мы с самого начала верим – она духовно чистая, добрая, любящая людей, заботливая женщина, мы любим ее и ничуть не обманываемся в собственных чувствах; мы делим и радость, и горе этой красивой и внешне, и внутренне женщины, чувствуем аромат ее красоты и обаяния…»

Она была точно художник… Посредством слова, мощи слова она создавала такие неподражаемые пейзажи, живые картины, что при чтении читатель, подобно автору, оказывался посреди этих пейзажей, наблюдающим ход солнца, луны, звезд – всей галактики, обнаруживал себя изумленно смотрящим на всю эту красоту…

«Настало время заката. Янтарное солнце, светившее и царствовавшее над живыми на протяжении всего дня, погружалось в дрёму. Теперь это желтое-прежелтое величественное Солнце превратилось в алый крохотный плод граната и скатывалось вниз по горизонту. Чуть спустя взошла Луна. Луна повисла прямо над ее головой. Протяни она руку, могла бы достать этот серебряный сноп. Серебряные нити Луны показались ей такими

длинными, такими протяженными, что захотелось схватиться за эти нити и взобраться на небеса. Ей показалось, что звезды – кристаллы соли, что кто-то собрал эти кристаллы из соляного озера в горсть и высыпал эту горсть на небо… Солнце устало. И Луна уходила в свое гнездышко, и звезды стеснялись этой пары голубых глаз, любовно и неотрывно на них смотрящих…».

Эта влюбленность ясно видна в ее произведениях. И видно еще и то, что она влюблена не только в мать-природу, в ее дожди, снега, небеса, землю, но и во все Прекрасное. Влюблена в родной язык, азербайджанский язык, в свой народ, свой край, национальную идентичность, тюркские корни. Влюбленность в родной язык, без всяких сомнений, возросла стократно в период работы диктором, во время обучения университетских студентов дикции и культуре речи. Лишь писатель, хорошо знающий тонкости языка, скрытые смысловые пласты слов, синонимический ряд и любящий родной язык всем своим существом, мог создать в повести «Творец – дитя человечества» такой оригинальный поэтизм, высокий художественный язык, совершенные образы, нестандартные пейзажи природы и сельские пейзажи. Читая ее прозу, ты можешь почувствовать себя промокшим под ливнем, который она описывает и даже *«схватиться за струи ливня и взобраться на небо»*… *«Дождь очень усилился. Ему подыскали хорошее название – как из ведра! Он лил точно из ведра. Этот дождь можно выпить, этот дождь можно обнять и расцеловать, под этим дождем можно раскрыть все секреты своего сердца, под этим дождем можно даже раздеться догола, под этим дождем можно искупаться, бегать и прыгать, позабыв обо всём…»*

Художественный язык, используемый поэтом, совершенен, подобранные слова обладают множеством оттенков. Неслучайно, академик Иса Габиббейли выделяет не резкие и обличительные произведения Нурангиз ханым, решительно критикующей советский имперский режим, а нежные, лирические стихи и уподобляет их фиалкам, которые несмотря на поникший венчик, всегда оборачиваются робко к солнцу. «В стихах Нурангиз Гюн, написанных до государственной независимости Азербайджана, невозможно не увидеть среди нежного материнского голоса выражение больших гражданских чувств и отображение национальной тематики высоким поэтическим стилем. Еще в середине 80-х годов – во времена бывшего Советского Союза – она расценила этот имперский режим в качестве *«республики-клетки»* и высказала это нежным, трогательным, чутким материнским голосом. В этом смысле размышления Нурангиз Гюн о независимости после того, как Азербайджан завоевал суверенитет, стали расцветать в ее произведениях точно фиалки. Не случайно, в стихах Нурангиз Гюн преобладают строки и поэтические рассуждения фиалковых оттенков. Как известно, у фиалки поникший венчик, но несмотря на это, она всегда тянется к солнцу. Я бы уподобил творчество Нурангиз Гюн цветку фиалки, тянущейся к солнцу. Ибо в ее стихах немало солнечного света и образов солнца. Этот фиалковый цвет под солнечными лучами в творчестве Нурангиз Гюн полновесно выражает палитру, многокрасочность, поэтическую гамму азербайджанской независимости».

В стихотворении «Мне холодно, солнце…» и других тематически близких стихотворениях особенно сильны междустрочные смыслы. Враги матери-природы, сильные мира сего, политические воротилы, жаждущие власти в мире – безжалостные охотники за чистыми мечтами свободолюбивых людей. Читателю порой хочется присоединиться к естественному желанию поэта, дрожащего от холода тут на земле и молящего древнее Солнце забрать ее к себе и согреть:

Мой ненаглядный! Жаркий, громадный! Меня защити!..
Зловещим мне видится всё.
Возьми меня отсюда. Забери, забери!.....
Тут на земле мне так холодно, Солнце!

… В стихотворении «Мы уйдем из мира в раскачивающейся люльке» Нурангиз Гюн создает философию обреченности человека на вечный уход из этого конечного мира, где никому навеки не задержаться, и поэт бьет тревогу, призывая уберечь этот мир от людей, враждующих друг с другом, от всего зла:

Человек вступает в мир в раскачивающейся люльке!
В такой же люльке мы уйдем из этого мира.
В крохотной люльке – человека рожденье,
В люльке большой – уход человека…
Мы сами себе в этом мире
Люльку строгаем,
Мы сами поначалу поем колыбельную,
А потом плачем и причитаем.
Давайте, люди, беречь наш мир от коротких жизней,
Давайте, люди, беречь!
Давайте искать не зло, а только добро.
Наш шар полон воды, так пусть не будет слез.
Наш шар полон печали, пусть не будут нужны люльки большие.

В стихотворении «Миг разлуки» мы снова становимся свидетелями неподражаемого сравнения. Рука дорогого сердцу человека выпадает из руки поэта, она уподобляет смертельный стон крику журавлей и это – изумление поэта перед чудом природы. Соленая слезинка пронзенного пулей журавля, который не падает наземь, а повисает на облаках, так обжигает уста нежного поэта, что эту горечь не смоют ни моря, ни реки, ничто не поможет этой боли… Кто может сказать, что эта горечь не является болью и стенанием наших беженцев и вынужденных переселенцев, потерявших кров соплеменников, болью тех людей во всем мире, которые мучаются в тисках голода и нищеты?

От этой боли терзалась писательница, выражающая свою скорбь в строках и уставшая от груза тяжких раздумий… В такие мгновения она обращалась к Солнцу и просила у него помощи, просила, чтобы оно забрало ее к себе… Так и случилось, дочь Солнца вернулась туда, откуда некогда снизошла… Но и из высей она продолжает наблюдать земную жизнь, порицать и проклинать зло… Стихотворение «Я – древо света» прекрасное доказательство этого моего мнения:

Нет, я не умерла! Запомните вы оба!
Я – престол света, древо света!
Если вы поднимете голову к небесам,
Небеса испепелят ваши глаза!
Вот тогда и я,
Уставившись вниз,
Рассмеюсь от души и пошлю вам обоим привет!!!

МУБАРИЗ ОРЕН

БЕЛЫЕ ОБЛАКА

Повесть

I

В свой последний приезд в эти края в середине мая он потерял покой. Облако над озером ни на секунду не оставляло его, зависнув над ним, словно бы окутав, втягивало его в себя. Снилось по ночам и будоражило чувства. Меняло обличья, формы, обгладывая его душу и плоть. Ступало на него как исполинская гора, преследовало до седьмого пота. Каждый раз, вырвавшись из цепкой хватки смерти, он просыпался в холодном поту, еле-еле спасшись от бездонного омута озера.

Будто над ним довлело проклятье. За что бы он ни брался – всё впустую, куда бы ни шел – возвращался, несолоно хлебавши. Непруха за непрухой…

А теперь еще и это…

Каждый раз, отправляясь в Тюмень, он звонил Татару (так его все называли) – домой либо на фабрику. На этот раз связаться не удалось; протяжные гудки ожидания звучали в трубке, но её так и не сняли. Утром, выезжая в аэропорт, он на всякий случай перезвонил еще раз. Опять впустую. Уже на пороге он, не зная, как быть, набрал Савченко. И хорошо, что так сделал; тот оказался достаточно уважаемым человеком в городе. Он встретил его в черной иномарке без номеров прямо у трапа самолета – под изумленными взглядами пассажиров, прилетевших вместе с ним из маленького северного городка (среди них был и новоизбранный мэр города). Организовал всё не хуже Татара, даже лучше. Как только Савченко уяснил суть дела, даже думать не стал, сразу повел к дому известного криминального авторитета.

– С севера приехал. Братана кинули конкретно, – представляя его «вору в законе», Савченко добавил странную фразу: – Были очень близкими друзьями с Татаром.

Ему даже и присниться не могло, что он когда-нибудь повстречается с Гансом, к тому же так легко и просто. Верно говорят: слава героя бежит впереди него. Ганс оказался худощавым, хилым мужчиной. Он больше напоминал редактора газеты, нежели титулованного «вора». На глазах очки с толстым стеклом и широкой оправой, сидит в окружении книг…

Он рассказал всё, как было. Как гость из Элисты пришел к нему в квартиру, как подсыпал снотворного ему в еду, как начисто выгреб из сейфа все его личные деньги и деньги фирмы… Ганс выслушал его, ни разу не перебив. Даже когда он озвучил сумму украденного – речь шла об очень крупной сумме, – тот слегка поерзал и дал знак продолжать. «Я проснулся среди ночи и понял, что уснул на диване, не снимая одежды. Голова трещала от боли, – он сам удивился, как свободно ведет себя в присутствии «вора». – Кое-как разлепил веки и побежал в комнату, где хранились деньги. Дверь сейфа была распахнута!..»

«Взамен огромной суммы денег была одна огромная пустота!» – этого он, естественно, не сказал, одним глазом то и дело поглядывая на Савченко, понял, что лишней болтовне тут не место.

– Надо спросить и другую сторону, – только и вымолвил Ганс.

Он-то думал, что как только предъявит, удальца из Элисты приведут связанным к ногам «вора в законе» и поставят перед ним мешок с родными деньгами. Больше всего он переживал за то, какую часть от этой суммы и каким образом он должен дать Гансу. Во всяком случае, Ганс – далеко не разбойник с большой дороги, требующий свою «долю». Он «вор», настоящий «Вор в законе»! Он знал, просто так давать «вору» деньги нельзя. Обязательно надо сказать: даю эти деньги в «общак» или отдать деньги в его распоряжение – направит туда, куда сам сочтет нужным.

– Как только что-нибудь разузнаем, сам тебе позвоню, – сказал Ганс, глядя на Савченко. И они встали. Перечить «вору» никак нельзя.

После сорокаградусного северного мороза температура восемнадцать ниже нуля тут в городе отдавала весенней свежестью. Он чувствовал себя легко, как птица. С другой стороны, Бог знает, сколько времени пройдет, пока из Элисты придет весточка и вопрос решится, и всё это время он будет жить надеждой. Но и надеяться попусту никуда не годится. К черту такую надежду! Нет ничего хуже ожидания. Получить бы хоть какой-никакой ответ, знал бы тогда, что делать, куда себя деть. А теперь вот сиди и жди с камнем на сердце.

Они зашли в небольшое кафе, устроились поудобнее, и тут на него, как ушат холодной воды, вылилась весть о смерти Татара:

– Случилась беда! – сказал Савченко залпом. – Убили Татара!

Руки и ноги стали ватными. Последующие слова доносились до него словно сквозь стену.

Они раздавили на каждого почти по литровой «банке». Наливали и пили, наливали и пили… Но напряжение, владевшее каждой крохотной клеткой тела, так и не ослабло. Весть о смерти Татара так его оглушила, что не действовала даже водка, с каждой стопкой он всё больше трезвел. В последний раз он видел Татара прошлым маем в «Аполлон отеле». В ту ночь они чуть не прирезали друг друга из-за одного-единственного слова, – хорошо хоть Татар оказался смекалистей, собрал своих людей и молча покинул «отель». И с того дня они больше не встречались. Именно это сейчас огорчало его больше всего: он не смог проводить друга в последний путь. Они разорвали дружеские узы. И теперь уже ничего не поправишь! Это гнетущее чувство обжигало всё нутро. Подробности той злополучной ночи, которые до мельчайших деталей, всё более распаляясь, обрушил на него Савченко, болью отзывались в душе, разжигая в нем гнев – за Татаром гнались, когда он выехал из «Аполлон отеля», загнали во двор старого храма и там пристрелили. Бедняга Савченко. Его полные ужаса глаза молили о пощаде: «Не спрашивай, брат, не спрашивай, невмоготу обо всём этом рассказывать». Но и скрывать это горе не выходило. Савченко согнулся в три погибели. Лицо от напряжения приняло медный оттенок. Холодные, прозрачные, как стекло, глаза за считанные секунды налились кровью. В уголках губ скопилась белая пена. Чем больше он пытался подавить разошедшийся голос, тем отрывистее вырывались у него слова: «Та сука его заказала. Зоя! Сам знаешь, мы никогда не оставляли Татара одного. В ту ночь, как обычно, были вместе. Под утро, когда светало, все разбрелись, кто куда. Ну а мне что оставалось? Татар был с дочерью этой сучки, вот я их там оставил и ушел. Сам прикинь… кто-то заложил… точно заложил. Они стояли

на стрёме. Спустили все четыре шины автомобиля… А Татару всё невдомек, сел и поехал, и тут они сели на хвост. Гнали по полной! Сам прикинь, шины спущены, гнал на голых дисках, а сам пьяный в дупель. Когда я добрался до поселка, услыхал выстрелы, ровно три выстрела. Сразу сердце екнуло, понял, дело плохо. Вернулся и стал взбираться по тому подъему, и тут будто мне на ухо шепнули: езжай в сторону храма, по старой кладбищенской дороге! Его машина врезалась в дерево прямо у входа в храм. Он сумел выбраться из машины, сделать несколько шагов. Там есть древняя каменная могила, ты ее видел, вот туда он и смог добежать. У могилы его настигли эти падлы. Все три пули выпустили прямо в лоб. Сучка на этом не успокоилась, – у Савченко при этих словах на покрасневших глазах выступили слезы, – ему отрезали мужское достоинство и запихнули в рот!»

Вдруг Савченко заорал во весь голос! Нет, кажется, поначалу завыл, да, по-настоящему завыл, – все посетители кафе обернулись и очумело уставились на воющего человека, – затем стукнул кулаками по столу и принялся орать, как сумасшедший: «Всех их переловили, одного за другим, нах..!.. Слышишь?! Одного за другим! Такой ад им устроили – мало не покажется! – Савченко схватил пустую бутыль от водки и стал ею потрясать. – Пять вот таких затолкнули им в зад!..».

На свежем воздухе Савченко немного пришел в себя. Он тихо бормотал себе под нос: «Сам ведь виноват… В последнее время совсем сбрендил. С малолетней дочкой Зои… ты видал ее, ей и пятнадцати не было, какая мать стерпела бы…».

Савченко совсем расстроился, когда он сказал, что переночует не в городе. Он упрашивал, умолял, но всё без толку.

– Надо идти, – сказал он, – утром надо быть в Содоморе, на бройлерной фабрике. Время контракта вышло, машина ждет погрузки, – соврал он на ходу, не зная, как отделаться от Савченко.

– Знаю, куда идешь. Этот проклятый «Аполлон» всех нас доконает. Останься хотя бы на ночь, переночуй, утром сам тебя повезу.

– Нет, – сказал он. – Мне надо идти.

***

В двадцати пяти километрах от города, в прилегающем к поселку Содомор лесу расположено Святое озеро. Если идти от поселка, то прямо у озера, совсем рядышком можно увидеть полуразвалившиеся каменные колонны, – руины величественных особняков святых людей, некогда пожаловавших в эти края из Бухары, Казани, с Кавказа. Сейчас на этом холме раскинулся «Аполлон отель» Старика…

Раньше он частенько заезжал в Содомор, если и не каждый месяц, то раз в два или три месяца его путь проходил через этот поселок. Но ему даже в голову бы не пришло, что его армейский сослуживец Татар родом из этого селения. Однажды они встретились совершенно случайно, – провалиться бы ему на том месте! – столкнулись лицом к лицу у выхода бройлерной фабрики.

– Как тебя сюда занесло, сволочь?!

В армии они вначале не ладили. Часто спорили и кидались друг на друга с кулаками. Без потуги – нету друга, верно говорят, а потом они стали не разлей вода…

Они поздоровались и крепко обнялись, как родные братья, годами не видавшие друг друга.

– Думал, сможешь от меня убежать?! Вот! Не-а, это дело так оставлять нельзя. Обязательно нужно обмыть!

Именно тогда он впервые увидел Савченко, это был низкорослый, крепкого сложения мужчина. Татар звал его «Философом»:

– Философ, гони к Старику, скажи, чтоб натопил баньку, у меня гость.

Татар говорил без умолку, не давая ему вставить хотя бы словцо. Сощурив глаза, рассматривал его лицо, а затем снова и снова прижимал к груди:

– Ну, сволочь, колись, какого хера тут ищешь? Курица нужна? Сколько надо? Давай, топай за мной, – и, взяв его за одно плечо, Татар потащил гостя в кабинет директора фабрики – Зои Галимовны.

Кто бы мог подумать, что такая властная, чинная женщина, как Зоя Галимовна, окажется женой Татара. Когда раздавался стук ее каблуков у входа фабрики площадью в пятнадцать гектаров, рабочие на своих местах тряслись от страха, да клиенты тоже – всем хотелось попрятаться в щель. Без ее ведома ни одна собака не смела пройти даже мимо фабрики. Правда, назвать ее женой во всех смыслах было трудно – Зоя Галимовна была намного старше Татара, но они жили вместе как муж и жена.

– Зоя, знаешь, кто этот парень? Помнишь, я рассказывал тебе об армейском товарище… Вот эта сволочь.

В ту пору курятина в стране была в дефиците, такие бройлерные фабрики были на пересчёт. Да и не только курятина, рушился весь Советский Союз, и большинство продуктовых, гастрономов пустовало. Голодный люд сводил концы с концами «ножками Буша». Повези на север набитый курятиной «КамАЗ», открой борт перед гастрономом, и весь товар «растает» за час. О цене никто и не заикался, расхватывали всё на лету. Но в том-то и дело, откуда взять курятину? Имея на руках наличные, готовый договор, он бывало днями, а то и неделями просиживал штаны в Содоморе, каждое утро приходил с жалким видом к воротам фабрики, надеясь купить хотя бы пять тонн мяса, но всё без толку. В отделе продаж на цепь посадили настоящего пса – Талгата Алибашировича, – вот он и цапал встречного-поперечного. «Нету! Убоя нету! Курицы нету! Отвяжитесь! Куда там пять тонн, даже пяти крылышек нету! Да послушайте же, я тут ничем не заправляю, идите к хозяйке, у нее всё спрашивайте!..»

Татар распахнул дверь отдела продаж пинком ноги.

– Давай заходи, – Татар затолкнул его в кабинет и прямиком обратился к «цепному псу», оцепеневшему от изумления: – Короче, Толян, набей до отвала мясом грузовик этого парня, понял?! Я отвечаю.

Только потом он узнал, что Татар – главарь местной бандитской группировки. В ту пору в России всем заправляли «воры», крупнейшие заводы и фабрики крышевала братва.

После того, как набитый грузом «КамАЗ» покинул территорию фабрики и направился в путь, тяжело вращая колесами (шестнадцатитонный тягач оказался так перегружен, что у него изогнулись рессоры), и сами они до отвала нагрузились водкой, едой и малолетними сельскими девками (одного кивка Татара оказалось достаточно, чтобы целое «полчище» девчат, постукивая каблучками по заледеневшему асфальту, забилось по автомобилям), вся процессия прямиком поднялась к холму, где белели те самые каменные колонны – в отдаленную от лишних глаз и ушей тихую «резиденцию» Старика.

Назвать дом Старика хибарой не поворачивался язык, он стоял на вершине, в пяти шагах от каменных колонн, с одной стороны окна открывались на Святое озеро, с другой – на реку Тура, «бегущую» позади строения. Это был красивый дом, построенный из толстых брусьев, которые хоть и почернели по прошествии времени, но

не растеряли своей естественной природной крепости. Он и сам не мог понять, в чем здесь скрывался секрет, но как только он переступил порог, его душу охватил бесконечный покой. Гармония с окружающей природой, которую создавало древнее компактное строение, не вписывающееся в рамки привычной симметрии и размеров, излилась, как бальзам на душу, пробрала до самых костей, – этот «деревянный дворец» показался ему столь же родным и добрым, как материнское лоно, столь же надежным, как отцовские объятия! Напомнил некогда прожитую и основательно забытую беззаботную, невинную пору детства.

Бархатное чувство чужбины, да, родная чужбина – такое тоже бывает.

При каждом шаге ему хотелось задержаться и собрать рассеянные, но приятные, драгоценные осколки памяти, собрать и нанизать эти бусинки на прочную нить, заново погрузиться, окутаться в свет и сияние, по которым он тосковал годами, но не вышло; проблески воспоминаний, крохотные, как игольное ушко, всполохнув, вмиг исчезали в небытии…

Это место обладало и обдавало странным настроением, будто здесь скрестились, пересеклись два противоположных друг другу мира. Знал бы, что не засмеют, так и сказал бы: здесь средостение двух миров. А река Тура, бегущая позади дома, граница двух этих миров – связка между ними! Тут царствовали странное заплесневевшее безмолвие и апатия. Пространство не подпускало к себе ни одну «живую» душу, даже воспоминания, отталкивало их своей герметичностью. «Дворец» сторожил руины некогда величественного каменного царства. Оберегал покой полуразвалившегося храма на берегу Святого озера, которое просматривалось, как на ладони, и одинокого покосившегося от ветра и снега, затерянного среди густых сорняков надгробья во дворе храма.

Необычность проявлялась на каждом шагу, даже в самых казалось бы привычных местах. Перила «змеистой» веранды, сооруженной на лоне гигантской, ветвистой лиственницы, были так искусно отделаны, что, казалось, «змея» соскользнет через секунду наземь, оставит зигзаги на песке и обовьет твою шею в смертельном броске. Над лестницей из толстого цельного дерева свисал череп неведомого существа. Положа руку на сердце, он и сейчас мог поклясться: ни до, ни после того, никогда и нигде – ни в реальной жизни, ни в кино или книгах с иллюстрациями – ему не встречалось подобное создание! Однако его с первого взгляда околдовало и связало по рукам и ногам ни то, ни другое, а холодные, ничего не выражающие крокодильи глаза Старика. Ему даже на кратчайший миг почудилось, что глаз у Старика вовсе нет, его когда-то очень давно ослепили, и глазные веки, чуть ли не вечность остававшиеся закрытыми, слиплись намертво. В противном случае откуда могли взяться у человека такое равнодушие, такая безучастность, от которых становилось столь неуютно?! Он казался совсем не от мира сего, весь блеск этого мира был ему чужд; стоя за прозрачным стеклом, он глядел на их развеселый смех, полные страсти выкрики как на пустое, бессмысленное занятие. Будто безмерность долгой-предолгой жизни утомила его. Да что там утомила, ему было вконец противно. Бесконечные годы отняли у него всю любовь и интерес к жизни. Сидя на берегу реки Тура, Старик с нетерпением дожидался своего конца, своей участи…

«Такие не умирают, – он и сам вздрогнул от мысли, пришедшей ему на ум при первой встрече со Стариком, – прядутся, как кудель, истончаются, как нитка».

«Храни Господь от такой беды: хочешь умереть, но не можешь!»

– Кто лезет в баню в трусах, умник? – после каждого слова Татара девчонки за-

ливались хохотом. Ему пришлось не по душе, что Татар так фамильярно обращается с ним среди незнакомых чужих людей, но по-настоящему покоробила его грубость по отношению к Старику. Татар гонял Старика, который в деды ему годился, туда-сюда, как мальчика на побегушках, прикрикивал на него, грозил. Старик же, что было удивительно, с неподходящей своему возрасту легкостью и восторженностью, да-да, восторженностью, исполнял каждое его поручение (покорно и споро!), и в это время уголки его губ осенял проблеск хитроватого довольства, о котором никто, кроме Всевышнего, не ведал.

«Идущий в ад ищет себе попутчиков».

О Боже, как сложно устроен человек! И нет в нём ни стыда, ни совести; поначалу он стеснялся Старика – не заходил в баню вместе с девочками, но перспектива оказаться вместе с ними голышом не переставала его щекотать, потому немного спустя он скинул всю одежду и скрылся из виду в горячем паре баньки, жарко натопленной Стариком.

Ему с первого же раза так всё это понравилось и он оказался так на это падок, что усидеть на севере не мог, кстати или некстати покупал билет и летел в Тюмень. Аэропортовские бомбилы – народ ушлый, сразу понимали, что перед ними «жирный» клиент, не скупящийся на деньги, они подбирали его, как только он спускался с самолета, хитро улыбались и без лишних вопросов отвозили на тот холм. Савченко в шутку прозвал это местечко «Аполлон отелем», – величественные колонны, белеющие на вечнозеленом горном склоне, со стороны и впрямь напоминали останки Дельфийского храма Аполлона. Свободы, которая царила в «Аполлон отеле», не найти больше нигде на свете: зимой ли, летом, когда бы ни ступила туда твоя нога, вино лилось рекой, пир стоял горой, веселье отдавалось в теле. Бывало и так: в лютую зиму, выбежав из жаркой бани, валились девки и парни на снег, а летом забегали в реку – и все в чём мать родила! Занимаясь животным сексом, испускали из глоток звериный рык, который отдавался эхом в давно покинутом местными жителями храме по ту сторону Святого озера…

Но, несмотря на все животные свои повадки, они и близко не подступали к воде Святого озера. Какая-то невидимая, неведомая сила преграждала им путь. Местные жители не использовали эту воду даже в целях орошения, даже скотину этой водой не поили; считали за великий грех. Чего нельзя? Почему грешно? – причину никто не заявлял. Так и говорили: «Нельзя и всё!» Разок он даже попытался выведать тайну у Старика. Старик уставился на него холодными крокодильими глазами и промолчал, дрогнули уголки старческих губ, только и всего.

***

После того, как он сошелся с Татаром во второй раз, дела пошли, как по маслу. «Баста, на фабрику забей, – сказал Татар, – сообщай, сколько тебе курятины надо, сам вышлю, толкай и кайфуй по полной…». Татар за словом своим постоял. За два года он прислал столько курятины, что денег у него уже куры не клевали; деньги сами сыпались на голову, как манна небесная. Вдобавок Татар его «крышевал», – в ту пору в России заправляли бандиты, – ни одна сволочь не посмела бы слова лишнего ему сказать. Но факт оставался фактом, всё, что он накопил за последние два года, вылетело в трубу за считанную неделю. «Августовский дефолт» за одну ночь обанкротил его страховую компанию «Наско».

А оставшиеся сбережения сгреб до последней копейки молодчик из Элисты.

Сейчас, когда в эту тоскливую февральскую ночь он попрощался с Савченко и устремился в беспросветный темный лес, на то у него имелась своя причина – хотелось повидать Старика! У него не выдержало бы сердце, не повидайся он в ту ночь со Стариком. По сути его нынешний визит в Тюмень не предполагал встречи с Гансом, эту встречу организовал сам Савченко. А трепло о контракте он выдал нарочно, чтобы уйти от Саши. К черту контракт, ему нужен Старик! Он хотел выяснить, почему над ним уже немалое время висит это проклятие. Ему казалось, что один Старик знает об этом, имеет самое прямое отношение и что тот всемогущ; ему хотелось выбраться из этой черной полосы, в которую он угодил…

В чем же заключалась его вина? Что стряслось в ту майскую ночь?!

…Татар притащил из поселка новенькую. У нее были бесчувственные овечьи глаза, бесстрастные глаза утопленницы. Она ни с кем и словом не перемолвилась, стояла в сторонке и безучастно наблюдала за происходящим. Татар схватил ее за руку, грубо подтолкнул к нему и сказал, мерзко осклабившись: «Вот, познакомься. Да не дрейфь ты. Ей ее же батя «пломбу сорвал».

Слова ударили током, он застыл, как вкопанный: как?! Свой же отец?!

Хитрая дрожь прошлась по лицу Татара, точь-в-точь, как у Старика, он одновременно испытал отвращение к ним обоим. Он побледнел, как мел, вся кровь схлынула с лица. Попытался подбодрить себя, взять в руки, не вышло. «Пошли к черту!» – не смог совладать он с чувствами, разметал по сторонам всё, что попалось под руки, и орал не переставая: «Суки! Падлы! Бляди! К черту вас всех!».

«Тебя это тоже касается, старый козёл!» – обругал он заодно безропотного Старика…

«Безропотного? Да уж, как же…»

В ту ночь до самого утра он не мог сомкнуть глаз. Так и ворочался из стороны в сторону. Но как бы он ни изворачивался, от вперившихся в его глаза «овечьих глаз» девчонки увернуться не удавалось. А когда на рассвете он вышел на свежий воздух и направился к Святому озеру… Грудь от умиления стала вздыматься, как паровой котел; озеро, окруженное с четырех сторон зеленым лесом, казалось живым, одушевленным! Оно хотело избавиться от тягостного, мучительного бремени, которое носило в чреве точно роженица! Гладь озера выглядела спокойной, но воды внутри кипели, и мнилось, озеро сейчас заговорит человеческим языком. Наконец-то откроет страшную тайну, которую годами вынашивало в своей груди, в своем чреве!.. Над древним полуразрушенным храмом на берегу озера нависло набрякшее темное облако. Будто оно тоже не в силах было покинуть это место, словно горемычный отец, дожидающийся на берегу бушующего моря своего поглощенного пучиной ребенка. И то черное облако отражалось на ровной глади озера точно в зеркале без единого пятнышка. Он за всю свою жизнь не видал такого черного облака. Облако в озере манило его магнитом. В утренних сумерках он шел к озеру, вытянув перед собой руки, как слепец! Если бы не окликнувший его голос…

«Вернись!» – полный волнения голос Старика словно пробудил его ото сна.

С тех пор он больше ни разу туда не вернулся.

***

«Его отец работал «химиком» в поселке…»

По окончании института ему дали направление на север, где он проработал некоторое время по своей специальности, но, войдя в азарт в эпоху перехода к ры-

ночной экономике, он, как и многие, окунулся в бизнес. Поначалу он открыл страховую компанию: своя печать, штамп, фирменные бланки… Тоже мне! Еще и название громкое придумал – «Наско». Хорошо хоть не «Фиаско»! На бумаге дела шли хорошо, но он понял, что нет, братец, каждый тихо занят своим делом, торговлей, а на страховку плевать хотели. И если он, засучив рукава, не возьмется за какое-нибудь конкретное дело, то так и будет мыкаться. Он приступил к мелкой торговле. Поначалу продавал там же, где и покупал, – золотое правило безубыточной торговли: покупай у своего порога и продавай там же. Заработав таким образом неплохой первоначальный капитал, он, как и многие, устремился в большие города – доставлять на север большие партии товара. Тогда-то он и увидел, как выглядят настоящие деньги. Что бы он ни привозил, всё вмиг улетало за двойную, тройную цену. Верно говорят, деньги приносят деньги: за короткий срок «Наско» обнаглела и совершила значительный оборот!..

В ту пору они еще не встретились с Татаром, и о существовании этого проклятого Содомора он еще не знал, вбил себе в голову разыскать родителей, сдавших его в детдом. Разыскать и найти во что бы то ни стало. Это желание не давало ему покоя: раз дела у него идут хорошо и, слава богу, он ни в ком не нуждается, почему бы не узнать, кто его родители!..

Знал лишь то, что когда ему было шесть лет, его в детдом отдала одна смуглая женщина. В студенческие годы он несколько раз пытался пойти и найти их старый дом, увидать, кто там есть, кого нет… Пытался пойти, но так и не пошел – не смог; так и не осмелился сделать решающий шаг. Каждый раз какое-нибудь «но» преграждало ему путь. Но он всё-таки выяснил, где находится родное село. В лесу, взявшем в кольцо Святое озеро, расположено пять-шесть древних поселений, женщина, отдавшая его в детдом, была из одного из тех сёл. «Пять-шесть сел» потому, что два из этих селения в дальнейшем объединились и стали большим поселком – Содомором! Содомор располагался на главной дороге, оттого и разросся постепенно, развился и стал чуть ли не городом: на его территории находились три крупных предприятия – Бройлерная фабрика, Деревообрабатывающий комбинат и Завод по производству соли, а еще множество кафе и закусочных, кинотеатр, банк и даже филиал университета. Были понастроены пятиэтажки… Остальные три села – по его расчетам, родное село было одним из трех – стояли поодаль от центральной дороги, в глуши, куда ты мог бы добраться, идя через лес возле озера. Не каждый шофер такси соглашался повезти в такую глухомань, где кончалась нормальная дорога и начинались сплошные рытвины и колдобины. Так что большинство селений этого типа теперь пустовало. Избы слепо глядели на солнце словно покинутые гнезда аистов. На дверях одних висит замок – один бог знает, вставят ли в них ключ, а двери и окна других и вовсе заколочены. Редкие избы подают признаки жизни: вьется слабый дымок из трубы одной, за мутным стеклом другой тускло горит свет. Кто мог, кто был в силах, кто на что-то надеялся или даже ни на что не надеялся, покинул родной кров так или иначе. Нужда, заработок, развлечения увели молодежь из села. Единственные нынешние обитатели – дряхлые, дышащие на ладан старики да старухи, кое-как сводящие концы с концами, ставя новые заплаты на прежние воспоминания…

Он сошел с автомобиля у входа в село и пошел пешком, ступая среди деревянных изб, разбросанных вдоль озера словно пчелиные соты. Он боялся вспугнуть звенящую в ушах тишину, осевшую на дома, деревья, тропинки, полесье, дремавшие под толстым слоем снега. Тишину нарушало лишь поскрипывание его ботинок на

снегу, порой он задерживал шаг и принимал со всей болью сердца пробирающую до мозга костей скорбь этих тоскливых безлюдных строений. Он с наслаждением прислушался к расслабленному постаныванию нервов, до предела натуженных от бесконечного напряжения большого города, ежедневной суеты, беготни по делам, каждой клеточкой тела ощутил, как мозг освободился от надоедливого жужжания; гул выскальзывал из ушей точно вербный пух, отлипал ото лба точно лист лопуха.

В селе царила жуткая могильная тяжесть. Он думал: что изменится в его жизни, если в одной из этих жалких, покосившихся хибар он отыщет родных отца и мать, братьев и сестер или кого-либо из близких? Изменится ли?! Наступит ли конец страданиям, годами копившимся в груди и превратившимся в тяжкий камень, ком горечи? Или вовсе наоборот: он растеряет и тот крохотный покой, который нашел по прошествии долгих лет, покой, за который расплатился сиротством, тяжкими муками, нуждой и нищетой?! Это безжалостное, странное чувство даже немного его напугало. Ему вдруг захотелось обернуться и бежать что есть мочи, убраться как можно подальше от этого села. Не вышло. Ноги его не слушались; будто б он был вовсе не из мяса и костей, а целиком из чувств. Откуда ему знать, что значит дом, что значит семья, когда он покидал шестилетним это село… Какое-то непривычное разумение привело его к порогу покинутой избы, построенной из некогда цельных здоровых брусьев, а теперь покосившейся набок… На лоне Святого озера, поблескивающего в солнечных лучах, как утренний иней, и кокетничающего в снежно-туманной белизне словно новобрачная, эта изба выглядела жалкой и сиротливой. Вся его сущность, плоть, дух и душа… разбились на мелкие осколки от этого впечатления и посыпались вокруг – на озеро, воздух, землю – в виде прозрачных кристаллов. И в тот самый миг он ощутил, как на его плечи снизошла невесомая «тяжесть»! Он тут же попытался стряхнуть с себя эту тяжесть, но понял, что лишь впустую тратит силы, понял, что эта тяжесть совсем не из ряда вон.

Чего он боялся, то с ним и случилось.

Один Бог знает, сколько времени он вот так простоял в одиночестве.

– Проваливай давай, убирайся отсюда!

Перед ним возникла старуха с седыми косматыми волосами, – ему почудилось, что старуха отделилась от мягкого тумана над озером, образованным от тайного бракосочетания мороза с солнцем. Она сжимала в ладони палку длиной в руку, пришла и встала перед ним, как настоящая буйно помешанная: «Проваливай давай, сукин сын! Только тебя тут не хватало! Выродиться бы вам до седьмого колена! Мерзкое семя! Пошел к черту! Не то, вот видишь это, – она просунула палку под юбку, зажала один конец между ногами, а другой уставила на него, – трахну тебя вот этим!» Естественно, она сказала не «трахну тебя», а «вые...у тебя», и в этом месте автор беспомощно признается в неумении донести «красивые словеса» старухи во всей их прямоте и цветистости. Хотя в устах старухи, выглядящей намного старше и дряхлее трехсотлетней вислокрылой вороны, этот трехэтажный мат звучал не так уж и странно: – Ха-ха-ха-ха-ха!.. Хе-хе-хе-хе!.. Хо-хо-хо-хо!..»

Старуха с до смешного огромными сапогами на ногах, с воротом нараспашку, непокрытой головой, кружилась волчком во дворе и, как ей мнилось в безумном раже, водила машину. Одной рукой придерживала у себя «там» палку, а другой крутила невидимую баранку: «Би-би-и-п! Би-бип, би-бип-би-би-и-ип… К содоморским бабам укатил твой батяня. Жим-жим-жим-обжим, жим-жим-жим-жим-обжим, – время от времени она «подкатывала» к нему, терлась палкой об его ноги и заливалась сума-

сшедшим хохотом. – А мать-то твоя сидела вот здесь и плакала, и-хи-хи-хи-хи, и-хи-хи-хи-хи-хи. Вот здесь, – старуха «поддала газу» и повела свою машину в самый угол двора, – здесь, да, прям здесь, два кипариса тут росли, ровные, высокие, аж до неба доставали…»

– Не обращай внимания, больная она, – тихо пролепетала незаметно появившаяся рядом низенькая, благодушная старушка. – Никак ее Бог не приберет, чтоб отмучилась наконец.

Пять-шесть других старух, стоя на пороге своих изб, тянули головы в их сторону, как подсолнух тянется за солнцем. По сути, этих божьих одуванчиков, прилепившихся к своим окнам, он заприметил раньше, ступая в глубь села. Найдя на себе их полные интереса взгляды, – еще чуть-чуть, и они выдавили бы лбами оконные стекла из рам, – он почувствовал себя довольно неуютно.

«Куда подевались мужики?!» – от первого пришедшего на ум вопроса у него самого мурашки пошли по коже.

– Всех утянул Содомор. Твоего отца тоже утянул Содомор, не иди туда. Возвращайся обратно, пожалей себя, молодой еще, иди обратно. Это дьявольский рассадник. Опасно. Пойдем налью тебе чаю, долгий путь держал на морозе, но потом уходи.

Не дожидаясь от него ответа, старуха засеменила мелкими, голубиными шажками в свою избу. Некоторое время он так и простоял молчаливо, а потом последовал за ней словно сирый ягненок.

– Мать-то твоя красавицей была. Как лебедь, глаз не отвести. Только вот безропотная, как курочка, робкая, нерешительная. А характером такая покладистая, ласковая, как солнышко. Издали привез ее батя твой, вырвал из родного, знай, гнезда и посадил в четыре стены. Не разрешал за порог ступить. Сам-то, перекати-поле, гулял, где хотел и с кем хотел, а мать твоя, горемычная, одна за двумя детьми присматривала. Не от мира сего была. Мы диву давались, всё ведь знала, знала, что муж гуляет на стороне, но молчала, терпела. Всё ему прощала. Сил у ней только на слезы и хватало, ревела без умолку с утра до ночи. Любила отца твоего, безумно любила. А как они друг другу подходили, как ладно смотрелись, Господи, как пара кипарисов: оба высокие, статные, подбористые… Всё по вине отца твоего дуралея случилось. Порчу на него будто навели, отворот на жену. А то как же? Бросить такую жену, бросить детей, ради какой-то уличной девки?! Толку то? Пропадал месяцами, не приходил. В конце концов исчез насовсем. Мужики все такие. Говорят, гниет сейчас на, как его там, химии что ли, поди разбери. Олух!.. Такой статный парень, настоящий красавец!.. А мать твоя бедняжка… осталась с двумя детьми без еды, без воды. Говорили мы ей: «Позвони кому-нибудь из родных и близких, пошли телеграмму, весточку пошли, пускай заберут тебя отсюдова, до каких пор голодать взаперти будешь?» Упертая была мать твоя: «Хоть бей, хоть убей, никуда не пойду, никому звонить не буду. С каким лицом пойду? Что им скажу?» Не знаю, сынок, не знаю, чем могли помочь ее горю? Чай-то пей, остывает, небось. Давай свежего налью, – она с кряхтеньем поднялась, чтобы принести гудящий на кирпичной печке чайник.

Он остановил ее. Взял за руку, попросил присесть и продолжить свою речь, и сказал, что принесет чайник сам.

Бабуля «кормила» его самой ценной порой его жизни, ничего, что горчит, пустяки! Она лила бальзам на его жаждущие губы. Какой там чай, сейчас не время чаи гонять!

– Да и документов толковых на вас не было. Старшого хоть в детдом отдай, говорим ей, – ты тогда уже взрослым был, школьного возраста, – молодая ведь, говорим, найди себе работу какую-нибудь, дети-то в чем виноваты, зачем их голодом морить? Заработаешь деньги, говорим, вот и заберешь обратно, никто ведь ребенка у тебя не отнимает… Поначалу не соглашалась, говорила, не могу своими же руками родного сына в детдом отдать. А потом, видать, образумилась, отвела тебя туда… Нашла столовую, рабочую столовую, устроилась туда посудомойкой. Столовая потом закрылась, и мать твоя переехала, связь с ней мы полностью потеряли. Поговаривали, что там вместе с ней какая-то женщина работала, вот мать твоя с ее братом ушла. Таджик или узбек, в общем, из этих. Я так тому обрадовалась, богом клянусь, казалось, что сама замуж вышла, – при этих словах мелкие старушечьи глаза заблестели…

В поисках матери он обошел пядь за пядью все окрестные села, все придорожные столовые. Стучался во все двери, расспрашивал каждого встречного. Но никакого положительного ответа не получил. Будто сквозь землю она провалилась! А поиски отца привели его в Содомор – на Деревообрабатывающий комбинат. Ему удалось разузнать, что отец работал «химиком» на комбинате. Он думал, отец и вправду химик, на деле же оказалось, что заключенных, работающих в принудительном порядке в исправительно-трудовой колонии, кличут «химиками». В ту пору заключенных этого типа гоняли на ядовитые химкомбинаты, радиоактивные фабрики и заводы, опасные, вредные для здоровья и жизни учреждения, предприятия. «Химики» не считались полностью лишенными свободы, они жили в специальных общежитиях, могли контактировать с местными жителями, ходить в магазины.

Но отыскать отца не удалось и на комбинате. К кому бы он ни обращался, все неохотно бурчали что-то под нос и спешили от него отойти. Он смог выяснить лишь то, что незадолго до освобождения отец потерял обе ноги на станке, вышел на свободу в инвалидной коляске.

«Один Бог знает, где он теперь…».

«Кому теперь он – инвалид – нужен…».

«Найди Петровича, если кто-то и знает, то он…», – в конце концов ему указали на «шанхайский квартал» поселка.

Петрович жил в компактном деревянном строении – тесном бараке, где еле-еле помещались двое. Жил он вместе со своей собакой. После отбытия заключения ему некуда и не к кому было податься, вот и пришлось застрять здесь. Узнав, кто перед ним стоит, бедняга так обрадовался, так засуетился, что места себе не находил! Будто нашел на чужбине родного человека, не знал, какое добро ему сделать. Закружившись волчком в захламленной комнатушке, он достал и поставил на стол заныканную бутылку вина. На окне висела связка репчатого лука, Петрович принес одну луковицу, разделил пополам и накрошил трясущимися от радости руками хлеба…

– Ни за что ни про что сел твой отец. Не за дело… По сути, все тут сидят ни за что, – странная рябь заиграла на лице Петровича. – Ты уж прости, из-за потаскухи какой-то гребаной. Зря совсем. Да разве к лицу мужику ради такого нож доставать?

Петрович налил себе и гостю в граненые стаканы красного, как кровь, крепкого вина. Чокнулись, опрокинули залпом. После бормотухи Петрович сиял, как граненый алмаз, у него развязался язык:

– На воле житуха у батяни твоего славная была. Пировал, гулял, горя не знал. Дальнобойщиком работал. «Капитаном дальних плаваний!» За баранкой дни прово-

дил. Как птица вольная. Жил в дороге. Ездил от Москвы и Петербурга до самого бишь Северного Ледовитого – к вашим краям. Карманы ломились от бабла, а сам ведь красавец был, статный весь, бабы за такими сами бегают, схватят – не отпустят. А сам-то он по этой части тоже был хорош. Ветер в голове гулял. Стоило увидеть какую-нибудь хорошенькую, так сразу голову терял. Ни одной юбки не пропускал. Сам сознавался, не могу совладать, говорил, как больной я. Вот как Бог меня покарал, говорил, променял родных детей и жену на всяких шалав. Забегаловки на трассах ломятся от красоток, сам знаешь. Стекаются из близлежащих поселков на эти кабаки, как полчища саранчи. Да-да, как муравьи на сладкое. Сам знаешь, почему. В одном из таких кафе он и познакомился с Олей. Оля родом из этого поселка. В молодости, говорят, красавицей была. Да и сейчас выглядит неплохо. Но толку-то, если Господь рассудок отберет, то пиши пропало. Сам прикинь, такой красавец-мужчина где выпьет, там и завалится на ночь. А в дом родной словно в гости приходит… Верно говорят: за что боролся, на то и напоролся… Слыхал, наверное, – чувствовалось, Петрович собирается сказать что-то нелицеприятное, потому осторожно выбирает слова, замалчивает основную тему, – не приведи никому Господь… Выйдя на «химию», отец твой гулял с одной девкой из поселка. Писаной красавицей была чертовка, все диву давались, как он ее подцепил. Долго жили вместе, как полагается, как муж и жена: с первого же дня. А потом выяснилось, что… Господи, прости меня грешного! Прости меня недостойного, Господи. Выяснилось, что… девка та собственной дочкой его была. Родной его дочкой – от Оли! У бедолаги крыша поехала, когда узнал. Хотел наложить на себя руки, но не стал, сказал, смерти мне мало. Два месяца наружу не выходил, сидел у себя и горько плакал. И вот в один день слышим, что обе ноги свои пустил под пилораму…

«Не надо было мне сюда заявляться! Не надо было! Какого хера я потерял в этом гадюшнике! Столько лет ведь прошло, какой еще отец мне нужен?!» – он совсем раздосадовался, никак не ожидал, что его бесславное прошлое окажется настолько гадким.

– Еще на чувашке какой-то женился, – Петрович сам нарушил тягостное молчание, – ребенка от нее имел, прожили вместе пару лет, потом в чем-то не сошлись, разругались и разошлись. Одно время говорил, как выйду – поеду туда. Потом передумал, в Калмыкии, говорил, в Элисте, сын есть у меня, к нему и поеду. Ну что тут сказать, ей-богу, под каждым кустом наложил. И себя погубил, и семя свое, детей родных. Говорил, за ее слезы расплачиваюсь – мать твою имел в виду. Не стал ей достойным мужем, говорил. Горько сожалел. Знал, что тебя в детдом отдали. С каким лицом, говорил, я к нему пойду. Провалиться бы мне на ровном месте, говорил, когда я от них уходил. Повторял всё это и рыдал, как ребенок… Когда увидел тебя на пороге, подумал, это он, – лицо Петровича снова озарилось, на сей раз продолжительно! – Как две капли воды похожи, слава Тебе, Господи. Он тоже такой статный, плечистый весь был, красавец, короче. – Петрович призадумался на пару секунд, встал и долго рылся среди хлама в углу комнатушки, наконец вернулся с какой-то фотокарточкой.

– Держи, его фотка, – сказал он. – Молодой тут еще…

На протяжении всей своей жизни отца он видел лишь в беспокойных снах, рисовал в воображении. Отец выглядел совершенно иначе, вот те на!, таким его он и не представлял. Но как только увидел, узнал и признал. По губам узнал, чуднò, не по бровям, не по глазам, – по губам. Понял, что это родной ему человек.

Фотокарточка была довольно старой, точнее, это была часть порванной надвое карточки, – та часть, где остался отец. Мать, по всей вероятности, осталась на другой части, увы! Не то и мать свою мог бы увидеть, да-да, прикинь, родную мать! На руках они, по всей видимости, держали малыша, – может, это он сам и был в младенчестве, – при «разделе имущества» на долю отца выпала лишь одна рука малыша. На фото отцу было от силы тридцать-тридцать пять лет. Он позировал в рубашке в черный горошек. Густые, черные курчавые волосы, агатовые усы придавали еще больше радости его улыбчивому лицу; его лицо светилось счастьем.

«Наверно, в ту пору они еще не развелись. В противном случае, он не выглядел бы таким счастливым», – он неотрывно смотрел в отцовские глаза. Понял, что вот человек, которого он ищет, человек, который смотрит с фото. Добрый, родной… А всё остальное, всё, что случилось потом, его не касается.

– Я могу оставить его у себя?

– Конечно, он так и так твой…

Последующие слова Петровича доносились до него смутно. Петрович нёс какую-то околесицу: «Не надо было тебе сюда возвращаться, сынок, уходи отсюда. Никто в этом гадюшнике добра не повидал. Не губи себя, пожалей, молодой еще, – Петрович говорил то же, что старушка из села. – Беги, беги отсюда как можно подальше!..»

Перед тем, как покинуть хибару, он оставил на столе дюжину крупных купюр.

***

«Беги, беги отсюда как можно подальше...»

Несколько этих слов, застрявших в самых глубинах его памяти, вряд ли когда-нибудь еще всплыли бы на поверхность, если б не горячечные бредни Савченко спустя годы в «Аполлон отеле» за день до той ужасной майской полночи – в бане, когда, нагулявшись и напившись до чертиков, все парни и девки, потеряв под утро ключи от жопы, распластались замертво где ни попадя. В туманной зыби между опьянением и трезвостью, одурью и бессонницей они пропустили еще по «сто» вдогонку за убегающей хмарью, и тут на ровном месте Савченко ни к селу, ни к городу начал без удержу нести какую-то околесицу. Правда, разобрать детально, о чем он толкует, было трудно: некогда случившаяся реальная история, дошедшая от старших поколений, быль вперемешку с небылью, древняя туманная притча или же плод больного воображения в дупель пьяного бандюгана…

То ли Мирза Гашгаром звали, то ли Мирза Габилем, короче, жил человек с таким именем, рассказывал Савченко. Кажись, всё-таки Мирза Гашгаром звали, да. Габилем звали другого – того, который взял и исчез… Именно этот Мирза Гашгар и основал в свое время нынешний поселок, три остальных селения на берегу Святого озера, да и древний храм основал не кто иной, как он. Очень степенным, почтенным человеком был, один Бог знает, как он здесь появился в полном расцвете сил. Его руки, его дыхание обладали неведомой силой, силой исцеления. Мог снимать порчу, изгонять бесов. Легким движением руки начисто снимал малярию. Жил в крохотной глинобитной хижине на месте нынешних каменных колонн. Прослышавшие о нем паломники изо всех уголков страны – ищущим исцеления и спасения у Мирзы Гашгара было несть числа, от бесконечного людского потока тут яблоку негде было упасть – натаскали каждый по кирпичику, по камушку и отстроили для него такую непри-

ступную крепость, что весть о ней дошла до самого Кавказа. Среди собравшихся на тепло и свет этого очага было немало представителей интеллигенции, ученых, но наряду с ними в общину затесались и фальшивые святоши-самозванцы, терпеливо дожидающиеся своего часа. Сразу после кончины Мирзы Гашгара вся власть в Крепости переходит в руки его дочери, тут-то и начинаются все беды. Девушка, падкая на гульбу и кутеж, всякие низменные удовольствия, зачинает такую порочность и разнузданность, для которых даже слов не подобрать. С каждым днем расширяется мерзость запустения на месте святилища. «По сравнению с ними выходки дочерей пророка Лота казались детскими. Даже жители Содома и Гоморры не совершали таких святотатств», – именно так и сказал Савченко, да. Правду говорил Татар: этот Савченко – дошлая сволочь. Неспроста ведь Татар кликал его Философом – сечет фишку. (Позднее он узнал, что Савченко окончил на отлично истфак, всё обещало ему блестящее будущее, но ему по какому-то делу пришлось сесть в тюрягу, а дальше… «пошло-поехало…»). Саша в шутку называл Старика из «Аполлон отеля» Оракулом: «Всё равно никто точно не знает ни имени, ни возраста старикана. Спроси старожилов поселка, скажут, с малых лет видели его точно таким, без изменений. Кто он, что он, откуда пришел, когда пришел – всё это большая загадка». Семя тайного блуда сеется не только среди паломников, совершивших путь к «Месту силы Мирзы Гашгара», но и среди жителей пяти окрестных селений. Самозванцы отнимают скудное имущество безропотных бедняков, сирот, всех тех, у кого нет заступников, но на этом не успокаиваются, они сбивают с пути молодых девушек и женщин, прелюбодействуют, раздевают донага и, до самого утра танцуя вокруг с бубнами в руках, вытворяют с ними всякую мерзость. «Свальным грехом, гасками[1] занимались!». Видать, вечно так продолжаться не могло, в конце концов дело дошло до того… – хлебая прозрачную, как слеза, водку, Савченко выглядел так, будто вот-вот откроет страшную тайну; его блестящие, как стекло, глаза расширились и вышли из орбит, ледяной взгляд безжалостно пронзал слушателя. – Значит, дело дошло до того, что один из этих фальшивых святош-самозванцев нарочно или не нарочно допустил такой грех, который не взяли на себя ни земля с небом, ни ветер с дождем! Короче, мерзавец совершил кровосмесительство! Осквернил ложе той, кто была ему запретна! С этого всё и началось. Одним прекрасным майским днем сын и дочь того самого несчастного грешника вышли на лодочную прогулку по озеру (знали они или нет, что приходятся друг другу родными братом и сестрой, этого Савченко внятно не изложил. Видимо, и сам толком не знал всё до мельчайших деталей). Стояла теплая, погожая весенняя пора. Та весенняя пора, когда кровь бурлит в венах и отдается во всех жилах. А эти бедолаги несчастные молоды совсем были, кровь им в голову ударила. За беседой и не заметили, как лодку унесло прямо в центр озера, а вокруг одна вода. По водной глади стлался легкий туман, вот и решили, будто, кроме них, ни одной живой души на всём белом свете нет. Солнце припекло, бес попутал, потянулись за запретным плодом. Животная страсть овладела обоими, да так, что устоять не смогли! «Не надо, не надо, не надо!..», – поначалу пыталась сопротивляться девушка, но особо упираться не стала. «Не надо, не надо, не надо…», – вдруг очнулись, очнулись и поняли, что совершили великий грех, и дело уже сделано! В мгновение ока тучи накрыли небо, всё смерклось, будто Судный День настал! На озере поднялся

[1]Гаски – этот обычай, который тоже можно назвать свальным грехом, описывает итальянский путешественник Рокколини. Вся молодежь деревни собиралась в большом доме. Пели и плясали при свете лучины. А когда лучина гасла, предавались любовным утехам вслепую с тем, кто оказался рядом. Затем лучину зажигали, и веселье с плясками продолжалось снова. И так до рассвета.

ужасный шторм, разнес их лодку в щепки! Озеро утянуло в свои пучины обоих грешников, – якобы именно после этого происшествия озеро стали называть Святым. Люди несколько дней подряд с утра до ночи, не покладая рук, ворошили вверх дном и само озеро, и его окрестности, но так ничего и не нашли: ни одной щепки от лодки, ни одной приметы тех несчастных. Вода утопленников не прячет, верно ведь говорю, труп разбухает и всплывает на поверхность, но их тела – ни парня, ни девушки – не нашлись, будто навеки в воду канули… Проклятый отец целыми днями ошалело метался по лесу вдоль озера, до рассвета возносил мольбы Богу, но всё впустую. Будто бы и сам Бог отвернул свой Лик от этого края! Отвернулся от своих блудных созданий! Ни мертвыми, ни живыми детей не нашли. Люди так и так по горло сыты были выходками крепостных, а последнее происшествие только подлило масла в огонь. Разъяренная молодежь пяти окрестных селений решила поймать того мерзавца и сжечь его заживо, чтобы очистить свое доброе имя от позорного пятна. «Не надо, не надо! Его сам Бог покарал, а вы не троньте! Гоните прочь из своих домов, не здоровайтесь при встрече, не подпускайте близко, но не убивайте, ни в коем случае! Не то мы тоже погрязнем в грехе, пожалейте всех нас и себя!..» – старейшинам села удалось кое-как остудить пыл мстителей. На какое-то время потерявшая контроль толпа утихомирилась. Мужчину объявили неприкасаемым и изгнали из села. Но у буйных молодых всё чесались руки, при первой же возможности они отловили изгоя, отвели подальше от глаз, спустили с него брюки и вытворили с ним то, что и представить страшно… Спустя неделю чабан, пасущий стадо в лесу возле озера, обнаружил труп того несчастного, – тот лежал распростертый ничком на влажном песке. Но самым ужасным стало то, что жители Крепости захотели похоронить того мужчину во дворе храма, где покоились останки Мирзы Гашгара. И знаете, кто настаивал на том? Родная дочь самого Мирзы Гашгара! Люди запротестовали, но сучке всё было нипочем, они ее отговаривали, просили – всё без толку. Не проявила она уважения ни к старейшинам, ни к молодым. Люди и так ненавидели крепостных. А после последней выходки чаша терпения лопнула, за считанные часы они образовали такой огромный людской поток, перед которым не устояла ни одна стена, ни одна преграда! За какие-то сутки они сровняли с лицом земли обитель дьявола – нерушимую крепость, которую некогда сами и возвели! Лишенных своего прибежища «святош» стали побивать камнями, да так, что, казалось, само небо изливает град ненависти!.. После того события однажды утром сельские жители вышли за порог своих домов поразмять кости, подышать свежим воздухом, но тут увидели кучковатое черное облако над двором храма. Они чуть не поперхнулись, чуть не вывернули жилы; откуда могло взяться это черное облако на чистом и ясном небе?! И не просто черное, а непроницаемо-густое словно гарь. Один из старейшин села тут же спохватился: «Это лярва – душа того изгоя над храмом! Он не покинет этот край, пока не узнает, что сталось с его детьми!» «Покуда это черное облако будет продолжать здесь оставаться, нам добра не видать, – сказал другой старейшина. – Не надо было трогать этого проклятого. Не надо было его убивать. Его и так Бог наказал. Вы убили его и тем самым сделали всех нас сопричастным его греху». «Вместо него надо было прикончить ту суку подзаборную, – молвил наконец один старик-слепец, – если она выживет и хотя бы разок родит, считай, пропало, нам не избежать несчастий. Этот грех уже не отмыть до седьмого колена. До тех самых пор, пока не найдется последний мужчина этого презренного рода и не умрет за тот же грех!..» С того времени прошло несколько столетий, но содоморцы всё еще не могут избавиться от этого проклятия.

Ужасное облако появляется каждый день, в один и тот же час на одном и том же месте. Нисходит на рассвете на вершину храма, а под вечер само по себе исчезает. Никакая буря, никакой ветер не в силах отогнать облако. Не в силах отодвинуть ни на миллиметр… С тех пор над поселком нависла беда. Вот уже долгие годы каждый ждет не дождется последнего мужчины этого проклятого рода; ждет, что он наконец появится и совершит свой ужасный грех…

***

В темную ночь шофер такси наотрез отказался повести машину по кладбищенской дороге. Хоть убей, сказал он, не поведу. В восемнадцатиградусный февральский мороз шофер высадил его довольно-таки далеко от поселка и повернул обратно. «Ты чего, совсем сбрендил, среди ночи в лес...» Но, с другой стороны, хорошо, что вернулся обратно; непрерывно идущий с вечера снег накрыл все дороги-пути точно пуховым одеялом, машина всё равно не смогла бы одолеть подъем, так и застряла бы на полпути. Опьянение от водки, выпитой с Савченко, прошло, оставив после себя головную боль. По колено в снегу, – хорошо хоть одет был тепло, ноги защищали сапоги с высокими голенищами, – стиснув зубы, он кое-как миновал кладбище, и как только оставил его позади, распрямил спину и поддал шагу, поддал шагу и вдруг пустился во всю прыть! Из глубин непроглядного леса раздавались нечленораздельные, нечеловеческие звуки, которые, казалось, принадлежали потустороннему миру. И он бежал от этих звуков! Бежал со всех ног, обуреваемый смертельным страхом – снявши голову, по волосам не плачут! Время от времени останавливался передохнуть, набирался сил и снова бежал. Хорошо хоть порой издалека, со стороны поселка раздавался глухой собачий лай, – то ли от безделья, то ли по глупости лаяли собаки. И хорошо, что эти звуки принадлежали миру посюстороннему…

Старик стоял перед окном, вперившись в ночной мрак, лицом к Святому озеру, – глядел равнодушно, безразлично. Он даже ни разу не обернулся на звук его шагов. Не промолвил ни единого слова! В тот миг его изумила еще одна вещь (как он смог не заметить этого раньше?), он всегда видел Старика в одной и той же одежде. Зимой и летом в одной и той же кожаной куртке! В давным-давно выцветшей кожаной куртке, которая вместо того, чтобы кукожиться год от года, напротив, с каждым годом расползалась и теперь уже свисала до самых колен. «Наверно, он сам усох от старости, потому и куртка висит на нем, как на вешалке…». «Интересно, он в этой кожанке и спит?» – проклятье, его на ровном месте чуть не разобрал смех. Но желание смеяться пропало, когда он призадумался и вспомнил, что никогда не видал Старика спящим. Смотря со спины на тонкую словно грушевый черенок шею Старика, на его бледные от плохого кровообращения вислые уши, он устыдился и подавил подступивший к горлу ком; чего ему было надо от этого пронырливого старикана?! Что это он к нему прилепился?! Он и вправду сбрендил, верно говорил таксист. Да ведь этот дряхлый доходяга никому не нужен, тем более не нужны его вшивые советы!

С одной стороны, он радовался, что нашел Старика живым-здоровым, но с другой, безразличный вид Старика совершенно выбил его из колеи. Впервые, когда он посетил «Аполлон отель», у него ёкнуло сердце от страшной догадки, и теперь эта крохотная искорка разошлась бушующим пламенем, охватившим всю его душу и плоть: «Может, он вовсе не живой человек, а призрак?! Или бездумная масса плоти, которую давно покинул дух!..»

«Зря ты сюда вернулся», – раздался глухой, словно из глубины колодца, голос Старика. – Это озеро не Святое, это Проклятое озеро! Проклятое! Они нарочно скрывают это название, чтобы замалевать свой срам. Проклятое озеро, понимаешь, его вода испоганена. И на тебя брызнуло этой водой. Ты тоже виновен! Не надо было тебе сюда приходить. Но и не прийти ты был бы не в силах. Есть причина, которая тебя сюда привела. Ты – одна из фигур в этой мерзкой игре! Круг должен замкнуться, и его должен замкнуть ты. Ключи от выхода у тебя! Тебе не убежать от своей участи!..»

Он очнулся ото сна с колотящимся сердцем. Понял, что так и уснул, сидя возле камина с тлеющими углями. А Старик… стоял, не шелохнувшись, перед окном. Стоял, как и прежде, вперившись в темноту за окном. Не сказал ни слова, даже не попрощался, покинул комнату беззвучными шагами.

Свежий рассветный ветерок плеснулся ему в лицо, как горсть воды…

II

Дьявол, куда ты меня привел?!
Твоя помощь обернулась моей погибелью.
Софокл

Он немало удивился, увидев перед Бройлерной фабрикой «КамАЗ» своей фирмы в ряду грузовиков, ожидающих товара. Кто же мог откомандировать сюда грузовик?! Точно не он сам, – об этом и речи быть не могло, – кто же в таком случае?! Бройлерная фабрика вообще не входила в его нынешние планы. Он упомянул ночью контракт только для того, чтобы уйти от пьяного Савченко. Старик – вот кто его интересовал, а тот просто взял и х... на него положил. Он собирался встретиться утром с Савченко, наведаться на могилу Татара, а потом преспокойно вернуться на север первым же поездом. Ответа от Савченко по поводу денег всё равно пришлось бы ждать целую вечность, и поезд оказывался лучшим вариантом, чтобы выиграть время; поезд на север едет ровно трое суток по бескрайней тайге.

Однако… грузовик находился здесь, и по всему его чумазому виду становилось ясно, что тот проделал долгий путь; грузовик напоминал утенка, угодившего в мазутное озеро.

Снаружи он никого в кабине не заприметил. Кем бы ни был водитель, после долгого, утомительного пути, видать, завалился спать. Интересно, кто он?! В фирме есть близкие ему водители, который из них? Он не решился подойти и разбудить шофера, стало жалко: пусть выспится. Дождавшись открытия фабрики, прямиком поднялся в кабинет Алибашировича. Не шутка, тот теперь был директором фабрики. После смерти Зои Галимовны Алибашировича назначили на ее место. Он был уверен, что не уйдет от «старого друга» с пустыми руками. Был даже настолько уверен, что прислал заранее машину. (Хотя ему всё еще было не ясно, как тут очутился грузовик…)

– Пока не погасите прежний долг, никак нельзя! От Татара у вас тоже уйма долгов осталась, сам знаешь. Тут все в курсе, что вы были дольщиками. Тебе лучше какое-то время тут не показываться. И у самого неприятности возникнут, и меня втянешь. Я тут новый, сам знаешь, а недоброжелателей уйма. Им достаточно малейшего повода, чтоб дать мне пинком под зад, клянусь. Не знаешь их, что ли, за два гроша

заложат. А Татара… ну что сказать, ему только этой старой шалавы не хватало. Не знал ее, что ли? Она в молодости с его отцом кувыркалась и под конец сгубила, оказалось мало, перешла на сына и того сгубила… А чё, не знал? Да тебе вообще всё невдомек. Это Содомор! – до самого конца коридора Алибаширович говорил без умолку, а прощаясь, долго держал его руку в своей, осторожничая. – Вечером заходи. Служба службой, дружба дружбой, сам знаешь, как я тебя уважаю. Жинка что-нибудь сварганит, сядем два брата, пропустим по стопке…

Он долго простоял снаружи на морозе.

Водитель спал, укрывшись всем, что попало под руку. Укутался крепко-накрепко, даже головы не разглядеть. Мотор был выключен, потому внутри стоял жуткий холод. Как только открылась дверь, шофер мгновенно вскинулся. Это был Булат – казах Булат.

– Наконец-то, шеф, слава Богу. Я уж думал, вы обо мне забыли, – он рассчитывал получить накладные и заехать на территорию фабрики. Не вышло. – У меня хороший чаёк в термосе, шеф, налить?

– Давай, – ответил он. – И мотор включи, пусть кабина прогреется, холодно. Спешить всё равно некуда. Время контракта вышло, а наликом закупишь тонн пять, не больше, да и то… Да и то даже на бензин не выручим.

Повисла гнетущая тишина. Такая тяжелая, что по сравнению с ней утомительная езда в течение двух суток казалась детским садом. Булата охватило странное чувство; будто именно ему предстояло найти выход из этой трудной ситуации, в которую они попали.

– Шеф, давайте поедем в Атбасар, – наконец вымолвил Булат и сам обрадовался своей нежданной мысли, весь засиял от радости. – Знаете, сколько мяса можно там накупить за эти деньги?

– Сперва подыщем какой-нибудь мотель, ты такой путь проделал, прими душ, отоспись, а там посмотрим…

– Мне незачем спать, отдыхать, я уже выспался. Если вам захочется, шеф, отоспитесь в дороге. Я ведь такой путь проделал, не хочется возвращаться порожняком.

«И на тебя брызнуло этой водой. Ты тоже виновен…», – ночной кошмар (это и вправду был сон?) всё еще не отпускал его. Равнодушная повадка – неподвижность – Старика задела его за живое. Может ли человек оказаться настолько упрямым и жестокосердым? В снег и мороз, в поздний час ночи он проделал огромный путь, задыхаясь от усталости и страха, а Старик не промолвил ни единого слова. Промолчал. Да что там, даже в лицо ему не взглянул. «Ты – одна из фигур в этой мерзкой игре!» – с этими словами Старик приснился ему и только расширил неопределенность и неизвестность, в которых он пребывал. Нет, лучше убраться восвояси из этого гадюшника. Бежать, пока не поздно: от самого себя, своего окружения, друзей и знакомых, от своего прошлого и будущего… от всех и всего, отовсюду! Чем дальше от них держаться, тем только лучше.

– Ты пойми, ввели карантин, – умоляюще взглянул он на рябое, но мягкое лицо Булата. – Привозить мясо из Казахстана запрещено, сам знаешь, на границе поставили ветеринарный пост.

– Ну и отлично, что ввели карантин. Никто не может вывезти мяса, осталось на руках, готовы продать за сущие гроши. Вы не переживайте, шеф, всё будет хорошо, вот увидите. Пожалуйста, скажите «да», только и всего, всё остальное сделаю сам. У меня там родственники, дяди с отцовской и материнской стороны, помогут всем,

чем надо. А вернемся таким путем, что даже границы не увидим. Я там все дороги знаю, как свои пять пальцев… Да и бешбармака отведаем, шеф, тетя моя такой бешбармак нам приготовит, что, ах, все пальчики оближешь.

– Ладно, гони! – наконец оперся он пустоту. – Езжай, будь, что будет!

***

«Езжай, будь, что будет!» – это был ответ на все вопросы.

С дорогами России ничто не сравнится! Слева и справа густые, здоровые сосновые леса, остановки, мотели, столовые на каждом шагу… Тут никак не заскучаешь. Простые, без всякой помпезности дома, накрытые снегом вдоль дороги, приглашают путника к своему теплу и уюту; белоснежный, густой дым, поднимающийся из труб деревянных изб по мере того, как крепчает мороз, издали дает знак страннику словно маяк; желтоватый свет, льющийся из заиндевелых окон на рассвете и в вечерних сумерках, проникает прямо в сердце; постучись в любую дверь, переступи порог – непременно попадешь в собственное детство, в ту беззаботную пору, когда тебя окружали родные отец и мать…

Казахские степи – бескрайняя пустыня, раскинувшаяся до самого горизонта, – серые, монотонные! До одури нудные дороги, тянущиеся, как прямая кишка! Дорога, дорога, дорога… Господи Боже, конца ей не видать. Едешь, едешь, никак не доедешь. Он молча крыл себя трехэтажным матом: «Какого хера ты тут потерял, в этой гребаной степи, повелся на тырку этого казаха Булата. Из-за какого-то, мать его, мяса!».

В непроглядном ночном мраке ему всё больше казалось, что дорога ведет в Ничто, в Небытие; что у машины нет ничего, кроме горстки света, которого та погоняет вперед. Нет ничего, кроме причудливых силуэтов, издали напоминающих человека, а по приближении оказывающихся кривыми-косыми деревьями, ничего, кроме погасших фонарных столбов, внезапно вырастающих из-под земли в тусклом свете грузовика и так же внезапно убегающих назад, туда, где теплится жизнь.

Но было вот еще что: с каждым пройденным километром повисшая на нем тяжесть будто становилась всё легче и легче. Накатывала усталость, но вместе с ней и облегчение. Осевший на него мерзкий запах Святого озера… тьфу, Проклятого озера начал постепенно выветриваться. Ему стало легче на сердце, когда он об этом задумался, он даже похвалил про себя Булата.

Думал, в Казахстане всегда тепло. Да ну?! Ветер, царствовавший целый день над беспризорными степями, под вечер разошелся не на шутку, разбуянился, превратился в метель, взметнул снежное крошево, лежавшее кучками и холмиками вдоль дороги, смешал это крошево с падающими снежинками, поднял ввысь, ударил оземь и заново разметал по дороге…

Дворники на ветровом стекле не поспевали.

– Шеф, вы не думайте, что здесь всегда так, – Булат не сознается, но бессонница его «загасила», голос стал глуше, каждое слово выходит изо рта вместе с зевком. – Земля тут сплошная глина. Весной здесь запросто не проехать. Слякоти по колено. Одна-а-ажды… кажись, вот прямо ту-у-ут… попал под ли-и-ивень… Грузовик был в грязи по самые стекла, весь такой красный… Русские остановили на границе, спрашивают: «Ты чего, с Марса упал?..»

«Да он мысли мои читает!» – только что ему подумалось: а есть ли жизнь на Марсе?; в такой долгой, утомительной дороге в голову лезет всякая чепуха.

Бессонница совсем сбила Булата с толку. Зажатая в пальцах сигарета сгорела до фильтра и погасла, а он и внимания не обратил. А сам-то упрямый ведь, с норовом. Скажешь: «Булат, остановись на обочине, поспи чуток, дай глазам отдохнуть», не послушается, ни за что не подставится. Чтобы отогнать неотступно подступающую сонливость, изворачивается как только может: то высовывает голову из окна и подставляет морозному ветру, то проводит ладонью сверху вниз по лицу, будто хочет тем самым смахнуть сонливость, копошится в магнитофоне, меняет одну кассету на другую, убавляет и добавляет громкость… «Чешется, ерзает, желчь застаивается, язва у него в желудке, мучают газы в кишечнике…».

– Попробуй остановиться в подходящем месте, глотнем свежего воздуха, – не выдержал он наконец.

– Поблизости должна быть заправка, шеф, там и остановимся, и воздухом подышим, и баки заправим.

Только теперь он вспомнил, что ничего поесть в дорогу не взяли, в последний раз ели утром на российской стороне. Они нашли отличную придорожную столовую для рабочих. Съели на брата по тарелке наваристого борща, а на второе жареную рыбу. Вдобавок он познакомился там с красивой чувашкой, то есть как познакомился – переглянулись, перекинулись парой словечек, и все дела. Спросил ее имя, а та засмеялась, ответила: «Сэлла».

Сэлла! Он в жизни не встречал такую красавицу. Длиннющие золотистые волосы, бирюзовые, яблочно-зеленые глаза. Сквозь губы, взывающие к жарким поцелуям, проглядывали белоснежные жемчужные зубы. «Придорожные кафешки ломятся от таких красоток», – отчего-то ему вспомнились слова Петровича, и он пусть и с натяжкой, но оправдал отца; кто ж от такой вот откажется?..

– На обратном пути снова туда завернем, шеф, – Булат словно прочел его мысли! – Она от вас глаз отвести не могла. Я о Сэлле, шеф, только и делала, что глядела на вас. Знаете, что она сказала, глядя вам вослед, когда мы выходили? «Вот бы такого мужа».

«Вот бы такого мужа!» – да, он и сам запомнил эти слова.

Заправочный пункт состоял из двух старых колонок советских времен, по всей видимости, одна предназначалась для бензина, другая – для солярки. Сейчас на такие видавшие виды колонки можно наткнуться лишь в отдаленнейших точках бывшего Союза; водитель в лютый мороз должен сначала бегом подойти к окошку и заплатить за горючее, а потом, поеживаясь от холода, битый час держать «пистолет» дулом в бак. Булат подогнал грузовик к колонке с надписью «Д/Т», надел ушанку, захватил перчатки и кое-как открыл дверь, поддав плечом. Булат толкал наружу, а ветер вовнутрь. Да и сам он открыл дверь с огромным трудом. Ветер не давал даже сходить по малой нужде, – возникло ощущение, будто его держат за «сопло» и тянут что есть мочи, – толкал вперед шаг за шагом. Закончив дело, он сразу сполоснул руки и лицо снегом и, дрожа от холода, помчался в теплую кабину.

Булат припарковал машину таким образом, чтобы еле-еле тлеющий свет заправки освещал кабину.

«Да они все такие. Жрут водку, как очумелые, потом никак не разбудить. И никто не скажет: будь добр, вали домой и травись себе там, чёрт…», – Булат всё ругал и ругал «заправщика». Видимо, долго дожидался того на морозе. Но настроение у него было в порядке. От прежнего Булата, который всего полчаса тому назад изнывал от бессонницы, не осталось и следа. Его глаза радостно светились изнутри.

– Знали бы, что у меня с собой, шеф! – он аппетитно потер руки, просунул голову в спальную часть кабины, порылся и достал два набитых битком кулька. – Посмотрим, что «командир» положила нам в дорогу, – один за другим он начал разворачивать свертки и выкладывать содержимое на чистое полотенце: копченая колбаса, отварная картошка, соленья в маленькой банке, хлеб, соль… И, оппааа, – самое главное! – конечно же: бутылка русской водки!

– Добро пожаловать на мою родину, шеф! – он быстренько разлил водку в железные кружки и взглянул на него с блаженством на лице. – За ваше здоровье!

Выпили, и Булат тут же налил вторую. «Между первой и второй промежуток небольшой! – рябое лицо Булата светилось счастьем. – А эту выпьем за наше товарищество, шеф! Кто бы знал, что мне когда-то доведется стать с вами попутчиком. И где, где – в «КамАзе»! Вот увидите, шеф, всё будет шикарно».

Ни в одном дорогущем ресторане мира не сыскать того смака, что на скатерти Булата; после горьких «ста грамм» посыпаешь солью холодную отварную картошку, а как отправишь в рот – слаще меда! Правда, картошка немного залежалась, чуток горчит, кожура склизкая, но, тем не менее. В таких обстоятельствах даже черствый хлеб сладок, как мед. И ни в одном элитном отеле мира не сыскать тех удобств и уюта, что в кабине Булата: мотор работает, внутри тепло, бензина полно, ветер свищет и рыщет снаружи, но внутрь пробраться не может… По мере того, как ветер раскачивает электрическую лампу на единственном фонарном столбе во дворе заправочного пункта, в кабине синхронно танцуют силуэты, будто находишься в каком-то ночном баре. Древняя казахская мелодия, ноющая на радиоволне, – тоже, по сути, голос вечных ветров, дующих где-то вдали…

Теплый воздух, что в полную силу вырабатывала «печка», плюс теплая истома от сорокаградусной водки постепенно вгоняли его в хмарь. Даже горький дым, который дующий во все стороны косой ветер загонял внутрь вместе с теплым воздухом, был бессилен предотвратить эту сладкую хмарь… Он увидел бездонное и безграничное озеро, без конца и без краю. И, как назло, увидел себя утонувшим посреди озера. Стоит лютая зима, но в воде теплым-тепло, и странно – хоть он и утонул, но не задыхается. Может свободно дышать в толще воды, держа глаза открытыми. Если б не этот невесть откуда взявшийся треклятый дым, проедающий глаза! Постепенно в воде дым начал стеснять ему грудь, спирать дыхание. Он понял, этот дым совсем нехорош. А может, вовсе это и не дым, а облако внутри Проклятого озера! Эта мысль совсем испортила ему настроение. Откуда взялось и нашло его это злополучное облако! Он всё метался, шлепал руками-ногами по воде, но не мог избавиться от зловещего облака… Он проснулся, задыхаясь, и кое-как смог открыть дверцу грузовика…

Он стоял и жадно вбирал в легкие чистый, как лед, воздух…

***

«Истинному казаху полагается белый верблюд!» – он пришел к этому выводу, увидев местных «шумахеров», которые чуть ни свет вытворяли каскадерские трюки на узкой и скользкой дороге. По большей части старые драндулеты обгоняли «КамАз» в считанные секунды. Не успевал ты оглянуться, как и след их простывал. Одна из таких гонок чуть не завершилась аварией. Они остались лоб в лоб с автомобилем, выскочившим внезапно из-за другого встречного. От страха у него заныли яички. Хорошо хоть Булат глядел в оба, еле-еле смог увернуться от столкновения.

– Казахская рулетка! – гикнул он во всё горло.

«Только этих выходок не хватало!» – он упрекнул его в мыслях, но ничего говорить не стал; на такой безлюдной дороге говорить что-либо Булату всё равно смысла не имело. Да и в сложившейся ситуации сам Булат был чуть ли не «шефом». А когда тот оставил удобную, обкатанную бетонную дорогу и завернул на зимник, где еле помещалась одна машина, он и вовсе не нашелся, что сказать. Он онемел, застыл, как вкопанный. Как так можно – оставить ровную, гладкую дорогу и загнать тяжелый грузовик на бездорожье?!

– Я срезал путь, шеф, не переживай, даст Бог, вечером будем дома. – Он впервые перешел на «ты».

Зимник – как видно по названию, эта дорога может существовать только зимой: после того, как ударят сильные морозы и хорошенько схватят землю. Кривая-косая дорога, которую в преддверии зимы разгребает грейдер, в течение трех месяцев остается проезжей, потому, несмотря на свежевыпавший снег, грузовики постепенно сами прокладывают себе путь, – колеса себе, рама себе, – поддон грузовика протирает и приводит середину дороги в такую форму, что колеса словно едут «по рельсам», – ни влево, ни вправо. На такой вот дороге можешь водить, даже выпустив из рук руль. Ведь колёсам соскакивать некуда. Заложи руки за голову и поддай газу!

Через каждый километр оставлены «карманы», чтобы пропускать встречный транспорт.

Грузовик с легкостью прорывался сквозь легкий снег, припорошивший дорогу после вечерней бури. Булату весь мир был нипочем, он, знай, насвистывал себе песни. И время от времени лихо подмигивал ему в зеркале: «вот видишь, шеф, хорошо, что послушался меня…».

Осадок от удушливого ночного сна еще оставался в душе, а тут еще вся эта головная боль от «срезанного пути» Булата. Внутри него начался ожесточенный спор: «Татар тоже оставил прямой путь и двинулся наперерез… Ну, да, двинулся, и что… А то, что его на этот путь втянули, не по своей воле пошел… Видать, дотоле ему было отмерено… И тебе отмерен путь, вот сел на рельсы… Что за мнительность, ей-богу, в последнее время совсем сдал, из каждой мухи слона делаешь… Отец твой тоже ноги себе отрезал и покатил на инвалидной коляске… Надо было ему вовремя Богу душу отдать, отмучился бы… Баста, не тронь его…»

Единственная фотокарточка отца всегда в нагрудном кармане, он вынимает иногда исподтишка карточку и смотрит. Они беседуют. Делятся наболевшим. «Почему ты так поступил, отец?» – спрашивает он. А отец бедолага словно язык проглотил, смиренно смотрит ему в лицо. Часами… Ему захотелось снова достать фото и бросить тайком взгляд. Но, увидев в зеркале мрачную физиономию Булата, передумал и только теперь обратил внимание, что стекла грузовика покрыты снаружи льдом, как бы ни «рвали резину» дворники, они не могут очистить затвердевший снежный ком. Ноги ощущали холодный воздух. Мороз пробрался до самых пальцев внутри утепленных ботинок.

– Кручу баранку без малого тридцать лет, но такой херни не встречал. – Лицо Булата побагровело. – Ей-богу, будто по проклятой дороге едем. Почему падает температура воды, мотор-то ведь работает?

Ему хотелось сказать, притормози, спустись и проверь масло, воду, посмотри, почему внутрь забирается холод, но он промолчал. Всё равно Булат был упёртый бык, – он даже отцу родному навстречу не пошел бы, – не стал бы слушаться советов.

Да и привирает он, что крутит баранку тридцать лет, не разбирается он в этих делах. Где машина сломается, там они и останутся.

– Наверно, выскочил воздушный шланг, – у Булата привычка привирать и выставлять себя всезнайкой, – главное, выбраться на трассу, шеф, как выберемся – открою и всё исправлю, – после этих слов Булат со всей силы нажал на педаль газа, да так, что мотор взвыл и чуть не вырвался с места.

Булат, не переставая, оттирал тыльной частью ладони лобовое стекло грузовика, чтобы разглядеть лежащую впереди дорогу. Грузовик прорывался сквозь заснеженную дорогу, как танк…

Подлец из Элисты столкнул его в такой глубокий колодец, что выбраться оттуда дело не из легких. Откуда взялась и прицепилась к нему эта гнида, да еще и прихватив с собой такую же гниду? Ведь всё шло хорошо, он жил не тужил! Подлец дьявольским даром обладал – нравиться, входить в доверие. Он показался ему таким родным, таким близким, будто вмиг взял и нашел родного брата, по которому тосковал долгие годы. Взял и отвел к себе домой, – незнакомого, чужого человека, какого-то пройдоху, – накрыл тому стол, поставил водки… А тот красавец… Да-а-а, красавец сгреб всё припрятанное бабло! Дело даже не столько в деньгах, смог заработать один раз, не беда, сможет и во второй. Просто этот безбожник отнял у него всю веру. Уничтожил всю доброту и любовь к людям, которые только-только поселились в его сердце после детдомовских лет и испытаний.

«Тар-рах-тах-тах-тах…», – послышалось из моторного отсека.

Грузовик проехал еще несколько метров и остановился прямо посреди дороги.

– Приехали! – руки и ноги Булата стали ватными, а в дрогнувшем голосе послышалась горечь вперемешку с насмешкой. – Сдох мотор!

Как вскоре стало ясно, дорога с выпирающей срединной частью постепенно протерла маленький водный кран в поддоне машины, кран сломался, и вся вода радиатора вытекла к чертовой бабушке. Ни капельки воды в радиаторе не осталось. И всю дорогу Булат вёл без воды, развалил мотор на полную катушку…

«Тридцать лет он баранку крутит. Да пошел ты!»

И только сейчас, после того, как заглох мотор и полностью вырубились приборы, зазвучал далекий отголосок древнего воя, и берущее за душу и холодное, как змеиный ужас, дыхание ветра, не выдававшего до сих пор своего присутствия, заполнило кабину. Каждая щель и прореха в кабине превратились в свисток.

Тяжелый грузовик покачивался как люлька.

У ветра был странный удушающий вой, – казалось, это воет в зловещей ночи стая голодных шакалов. Это – ветер, с которым он хорошо знаком с детства; добрый ветер, расчесывающий шелковым дыханием необъятные поля с пшеничными колосьями, сгибающий их то в одну, то в другую сторону и ласкающий невидимой рукой; беспечный ветер, дующий, когда вздумается, и шатающийся до самого вечера по всем углам и закоулкам; наглый ветер, стучащийся в холодные зимние вечера в дверь и окна и готовый на всё, чтобы пробраться внутрь… А теперь ветер вздымал снежное крошево и гнал его перед собой; всё равно завтра он вернет на место то, что унес! «Ну, вернет, что с того? – он недавно взял за привычку говорить с самим собой. – Какая тебе разница? Может, и вовсе не вернет! Ты лучше своими проблемами займись. Подумай хотя бы о бедном Булате, которого ты замарал своим проклятием. Он-то в чем виноват? Скоро этот ветер, которого ты называешь ласковым, так вас заморозит, что даже тепло тысячи солнц не вернет вам ни искорки жизни!»

Лучи солнца, проглядывающего сквозь облака, кололи глаза словно льдинки, но тепла не давали. На небе висел лишь безжизненный оселок. Он даже усмехнулся про себя безразличию солнца, – это, кажется, было уже признаком безумия.

«Старик в ту ночь перед окном тоже напоминал безжизненную тень, – подумал он. – Казалось, он и не дышит совсем. Он проделал огромный путь в мороз, в снегу и буране, а тот даже рта не раскрыл. Ни словом с ним не обмолвился. Верно поступал Татар, да, – за человека его не держал. Хорошо и делал, значит, знал, за что. По всему его виду ясно, что этот Старик – ушлая сволочь, всё знает, да ничего не говорит. Сволочь, даже словом не обмолвился. Да к черту его слова, но зачем Старик ему приснился и так взбаламутил душу, что осадок до сих пор не улегся?..

А Булат бедолага в чем виноват?!

– Не горюй, шеф, развалился-то мотор, а не мир. Стоит ли из-за одного мотора такой вид на себя напускать? По моей вине развалился, я его и соберу…

Бесстыжий оптимизм Булата совсем выбил его из терпения. Ему захотелось заорать: какой к черту мотор, какая к черту вина, я тебе про лысого, а ты мне про седого! Дай уж спокойно помереть. Но тут он увидал, что Булат перешел в настоящее наступление и сдаваться не собирается. Он надел теплую куртку и вышел из кабины, осмотрелся, обошел грузовик, прошелся пинком по всем колесам, проверяя, не спустил ли воздух (будто воздух в колесах имел какое-то отношение к развалившемуся мотору), затем стряхнул с себя снег, спокойно и уверенно – будто вовсе не они застряли тут в мороз и бурю посреди степи – поднялся в кабину, достал из грузового отсека кипу теплой одежды и бросил между сиденьями.

– Новехонькие, шеф, – бросил он теплую униформу ему на руки, – выдали, когда я еще с нефтяниками работал, ни разу не надевал. Так и держал при себе, в такие моменты пригодиться может. – Булат бросил ему под ноги пару новых валенок: – Давай, снимай ботинки, цепляй вот эти.

А сам поверх комбинезона натянул до самых колен унты из оленьей кожи, крепко обвязал горло и шею теплым шарфом, надел бушлат, шапку, перчатки и полностью укомплектовался.

– Рядом должна быть деревня, – сказал он, – пойду поищу какой-нибудь трактор. Вдвоем идти нельзя, с твоими ногами далеко не уйдем. Я сам чего-нибудь отыщу и привезу, не переживай. Но, смотри, на одном месте не засиживайся, двигайся. Движение, движение, движение! Сам знаешь, мороз шутить не любит. Вдруг да сморит тебя сон, потом иди отвечай Вере Васильевне.

Вера Васильевна типа его мать. В городе, где он живет, никто не знает, что он «детдомовский». Все знают его как человека, у которого крепкие тылы. Многие даже завидуют его судьбе; думают, он из состоятельной и уважаемой семьи. Муж его сестры типа руководит большой страховой компанией; а не то как в одиночку он мог бы открыть это «Наско». Раз в неделю он получает целый грузовик курятины. Откуда получает? Знамо дело…

– В заднем контейнере есть запасные колеса, – наставлял Булат на прощание, – станешь замерзать – доставай и жги по одному. За час-два я вернусь.

Он уже столько лет на севере, из них два проработал в нефтяном секторе, знаком с морозом не понаслышке, понимает, насколько опасно в мороз остаться вот так посреди безлюдья. Немало его знакомых изувечил мороз: один потерял нос, другой уши, третий ноги… И многие по незнанке. Достаточно поддаться, сбавить обороты, прикорнуть чуток в мороз – пиши пропало! До свидания, мои ноги 42-го размера! Это

еще если повезет. А если нет, то станешь одним из тех несчастных, которых находят весной, когда тает снег, – почва на севере избавляется от семимесячного снежного ига к середине мая, только тогда к ней возвращается ее природный болотный цвет…

У сурового севера свои неписаные законы. Но есть и записанные. К примеру, когда на севере берут на работу шофера, тот наряду с другими профессиональными обязательствами должен непременно подписаться под следующим пунктом: «Если в суровую морозную погоду увидишь снаружи беспомощного человека, то независимо от того, кто он, ты должен в обязательном порядке притормозить и подсадить его в машину. Если машина сломалась и ты остался на дороге, ты должен сжечь всё, начиная от запасных частей вплоть до всего, что поддается горению, и спасти себя (и пассажиров) от обморожения…».

Он швырнул колеса из контейнера на снег, потерявшими чувствительность пальцами открыл бак и достал через шланг бензина. Руки были, как бревно, даже спичек удержать не могли, он подержал их под мышкой, засунул в рот, покашлял-подышал, в конце концов удалось поджечь колесо. Как только колесо загорелось, плотная черная сажа резины распространилась по всей окрестности. Ветер разгонял постепенно дым, и языки пламени, отливающие то зеленым, то красным, то темно-синим, начали свою трепетную игру, – игривый ветер нашел себе новую забаву.

Дым и сажа были ему нипочем, и нипочем была шуба с воротом из редкого меха, купленная в прошлом году в эту же пору, он чуть ли не по уши ушел в жар костра. Он думал, если Булат не подоспеет или не вернется вовсе, – он утешал себя тем, что если «предвидение» Старика верно и его песенка уже спета, то хотя бы Булату удастся сбежать и спастись, – на какое время ему хватит запаса колес. Вот две, еще десять, на которых стоит грузовик, да и то, если ему удастся отвинтить их, всего получается двенадцать. На сколько дней или часов смогут продлить ему жизнь эти двенадцать колес?

Если Булат не вернется и тем временем он сожжет все колеса, то остается одно – спалить грузовик. Сначала разберет и сожжет сиденья, достанет из кабины всё, что может гореть, и побросает в пламя. А в конце, если больше ничего не отыщет, польет соляркой грузовик, подожжет и сам бросится в пламя…

Он думал, что лучше: умереть в огне или от обморожения?

И пришел к мнению, что в сложившейся ситуации умереть в огне лучше.

По мере того, как его обдавало тепло костра, вероломный сон мало-помалу склонял его голову на грудь. Тяжелели веки, и голова безвольно повисла вниз… Во сне он снова увидел бездонное, безбрежное озеро, внутри которого горит огромный костер. И не просто огромный, а гигантский, – достигающий высотой сосны! Странно, но он не видел ничего удивительного в том, что костер горит в воде, наоборот, он стоял и с наслаждением наблюдал, как потрескивает костер. Плохо было то, что тепло и пламя костра стали постепенно убывать. Он почувствовал, как руки и ноги начинают замерзать, как от мороза немеют пальцы. А дым от костра не таял на открытом воздухе, растворяясь в небесах, нет, он скапливался внутри воды, превращаясь в ужасное облако… Он понял, что от этого облака веет угрозой. Испугался: а вдруг это то самое облако внутри Проклятого озера; запаниковал. Начал задыхаться. Стал делать резкие движения конечностями, пытаясь избавиться от этой тесноты, но руки его не слушались, а ноги отяжелели, как пудовые гири. Но ужаснее всего было то, что Старик видел его безмолвный вопль в воде, его метания, но не шевелился, – он стоял всего в шаге от него, мог протянуть руку и легко его вытащить, – стоял спо-

койно и смотрел на его борьбу за жизнь. Его стенания никак не трогали Старика. Но нет… вдруг он увидел, что слезы Старика льются рекой; Старик горько рыдает, хотя Проклятое озеро омывает его слезы и не выдает их.

«Деда, зачем ты даешь мне утонуть?! – он изумился тому, что называет Старика «дедушкой». – «У меня ведь, кроме тебя, никого нет. Почему ты меня не спасаешь?!»

Старик стоял, устремив на него холодные, как у крокодила, ничего не выражающие глаза...

– Давай вставай, вставай, поднимайся… Давай-ка вставай, ёб ты… Ты ж совсем замерз! Вставай, садись вот здесь, вот молодец, вот сядь-ка здесь. Ноги вытяни поудобнее, не бойся, вот та-а-ак. Давай накину на тебя шубу, вот, теперь ложись поудобней…

Это был худой, хилый мужчина, утопающий в щетине. На его голове красовалась облезлая ушанка из кроличьего меха, одет он был в стеганый ватник, – такие заляпанные маслом и мазутом ватники обычно носят трактористы. – Поначалу ему показалось, что это Старик пришел ему на помощь. Затем он понял, что это совсем другой человек, которого он не знает. От него несло перегаром – жутким сивушным запахом. С уголка губ свисала потухшая папироса без фильтра. Через каждое слово он вставлял мат. Он приехал на санях, в которые была впряжена лошадь. Набитые сухой соломой сани были устланы ветхим тряпьем, паласами, шкурами. Тулуп на нем был таким толстым, что даже семидесятиградусный мороз его не напугал бы, и вдобавок таким широким, что в него влезла бы дюжина таких же мужичков.

Потом они каждый раз будут смеяться за столом, вспоминая его полубессознательно сказанные слова в тот момент, когда сани тронулись в путь: «А грузовик не увозим?»

– Давай-ка сначала я сдам тебя живым-здоровым твоему другу, он волнуется, дома на иголках сидит, а потом и грузовик увезем на лошадке, – мужичок от души рассмеялся, и когда он рассмеялся, его и без того узкие глаза пропали на лице. – Разнесли мотор в клочья, погубили грузовик. Да разве умный человек станет доверять такого красавца казаху? Откуда казаху знать, что такое «КамАЗ»? Казаху табун подавай, и пускай себе пасёт, – он снова рассмеялся. – Не бойся, тут никто машину не тронет. Поехали, завтра привезем грейдер и спокойно увезем твой грузовик…

Остальное он уже не помнил, происходящее вокруг он воспринимал смутно, как во сне. Длинный, как туннель, путь, повсюду белым-бело, они соскальзывали то на один, то на другой склон туннеля. Куда они ехали?! Ведь это не его путь. А чей же?! Кто его спаситель? Его благодетель?! Он пытался приподнять голову и разглядеть лицо сидящего рядом человека, не получалось; от макушек до пят, до самых ресниц человека покрывал снег. Снег выбивался из-под копыт и живота лошади, резко бил в сани и держал их обоих вместе с санями в своей хватке; и небо, и земля окутались в белый туман. Улавливались лишь очертания лошади, да и то слабо, сквозь пелену. Да еще слышалось ее фырканье и сопенье. Он не мог сконцентрироваться и понять, бежит ли вообще лошадь или не сдвинулась с места. Но сам-то он!.. Сам он летел, – ногами вперед, скользил, охваченный восторгом, словно в детстве, когда катился в салазках вниз по склону, – не ощущая никакой тяжести, легкий, как птица! Он ощущал такую легкость, будто парил над мягкими облаками; погоняющие друг друга радостные облака, включив его в свои ряды, уносили всё дальше и дальше…

***

«Он же совсем замерз. Скорей снимай с него одежду, чего уставился, как баран на новые ворота. Укладывайте возле печи. Погоди, не так, дай хоть матрас постелю… Слишком близко не подноси, сразу обдавать жаром нельзя. Неси сюда свою водку, надо помассировать ему руки-ноги… Уши не трожь, побелели, могут отпасть…», – до его слуха доносились сбивчивые голоса. Голос Булата тоже вплетался в этот нестройный хор. Больше других усердствовала какая-то женщина. Он окончательно растерялся: где он сейчас, что происходит, почему люди переполошились?...

…Его пробрал до самого нутра запах мясной пищи. Он почувствовал, как сильно проголодался, как сосет под ложечкой; голодный желудок молил о пище. Он лежал под теплым одеялом, глотая слюну. Что за аппетитный запах, что за вкуснятина! Где же он находился?! Какая удобная постель! Он уже и не помнит, когда спал так глубоко и сладко!; все члены тела отдохнули, расслабились. Он проснулся новорожденным. Там и сям слегка зудела кожа, будто по ней ползал муравей.

– Уже полдень, шеф, просыпайся. Только погляди, что нам приготовила тётушка Сулуджан! Бешбармак! М-м-м-м… Пальчики оближешь! – бодрый и радостный голос Булата поднял ему настроение, придал еще большей свежести. – Такой бешбармак готовят только наши мамы! Вставай, шеф, вставай, хватит лениться. Мы с Айрат-акя отправились спозаранку в соседний поселок и отыскали моториста, договорились о теплом боксе, куда можно загнать грузовик. Скоро и за грузовиком сходим, вставай…

Он открыл глаза и ошалело уставился на Булата. Что это за место? Кто такая тётушка Сулуджан? Да еще Айрат-акя в придачу?! Булат долгие годы шоферил в его фирме, но он его покамест не узнал и не оценил. Какой же Булат хороший человек…

– Вставай-ка, давай, – Булат напустил на себя шутливый вид и на сей раз сдернул с него одеяло, – люди нас дожидаются, вставай, неудобно ведь.

Уже рассвело, но электрическая лампочка над его головой всё еще тускло горела. Двойные стекла на окне покрылись снаружи льдом и потому почти не пропускали солнечных лучей. Неровная штукатурка небольшой комнаты была побелена известкой, а земляной пол во всю ширь выстлан коврами и паласами. Кровать, на которой он спал, была единственным предметом мебели в этой комнате, – Булату постелили на полу.

На толстом матрасе, под теплым одеялом он чувствовал себя чуть ли не принцем. Надо быть дураком, чтобы вылезать из такой вот постели! Он всегда тосковал по такому удобному, простому, без всяких изысков дому. «Бедняк многого лишен, но подушка у него всегда мягкая и удобная, – он перевернул подушку и снова положил лицо на прохладную сторону. – Господи Боже, да тут пахнет самим раем».

Из соседней комнаты доносились отзвуки беседы. Это были те же самые люди, но в их голосах не осталось ни нотки от ночной напряженности. Мужчина с хриплым в результате многолетнего употребления спиртного и табака голосом рассказывал какую-то историю, – он прислушался и догадался, что, кажется, речь идет о нем, – а слушатели прыскали смехом.

Он изумился тому, как быстро Булат нашел общий язык с этой семьей.

Тётя Сулуджан была дородной, плечистой женщиной лет сорока пяти-пятидесяти. Такие властные, крепко сбитые женщины обычно встречаются в столовых, кафе; крепкие, как орешек, подвижные, как кошка, праздничные, как пасхальное яйцо…

Его всегда приятно удивляли сила и темперамент, живущие в таких вот женщинах.

Она легко поставила на печку ведро воды вперемешку со снегом, затем добавила в холодную воду горячей и получила теплую, так же легко подняла полные ведра и поставила их у ног мужчины, стоящего на пороге.

– Теплая, залей в умывальник, пускай ребята умоются.

Он только теперь заприметил тихого, худосочного мужичка, который всё это время с интересом наблюдал за ним. Если это Айрат-акя, значит, это и есть его спаситель.

– Поручи своим друзьям-алкашам, пусть уже готовят мясо на убой. Мясо должно вовремя заморозиться и принять должный вид. Я сама всех обзвоню и сообщу. К соседним деревням обращаться не надо, здесь у каждого в сарае битком скота, – на сей раз тетя Сулуджан обратилась к нему: – Не переживай, сынок, тётя организует для тебя сколько надо мяса.

«Как скоро Булат доложил, что они приехали за мясом!» – обомлел он.

День начался намного радостнее, чем он того ожидал.

– Если захочешь в ту сторону, не стесняйся, скажи, – стесняющимся тоном молвил Айрат-акя, наполнив чугунную афтафу теплой водой, как только он вышел во двор.

Под «той стороной», естественно, подразумевался туалет.

Ходить в деревне в туалет было для него самым ужасным и ненавистным делом. Отслужил он на севере, хорошо знает, каково в двадцатиградусный мороз ходить по нужде в туалет, находящийся снаружи жилого строения. Все причиндалы можно отморозить. Он так с тех пор напуган, что, отправляясь в незнакомое место – и особенно в деревню (и тем более в мороз), – не может себе места найти, все мысли вертятся вокруг туалета; снаружи тот или внутри? Тепло там или холодно?..

Начавшаяся вечером буря всё еще не улеглась. Снег, принесенный ветром за всю долгую зиму, образовал во дворе такую горку, что снежного холма подобной высоты он и представить не мог. Кое-где из-за снега еле-еле виднелись верхушки деревьев. Тропинки расчищались почти каждый день, и потому во дворе образовались гигантские туннели с открытым верхом. Одна из тропинок вела в длинный сарай, расположенный в конце двора, а другая, более тесная тропинка – в баню, находившуюся напротив дома. Была еще одна сравнительно широкая тропинка к воротам. У ворот под снегом в углу были свалены в кучу какие-то железки, прицепы, плуги – детали трактора. Первое впечатление его не подвело – здесь проживал тракторист.

– Шеф, цепляй резиновые сапоги и ступай за мной, я тебе такой туалет покажу, какого ты в жизни не видал, – прихватив афтафу, Булат отчего-то пошел в сторону сарая.

Да, сарай был длинным, но в то же время невероятно узким, вдобавок ко всему он был поделен надвое деревянной перегородкой: место для скота прямо у входа было до предела тесным и забитым. Место по ту сторону перегородки предназначалось для сена, набитый на зиму битком сеновал под конец зимы был израсходован наполовину и потому освободилось большое пространство. Резкий запах сарая, выедающий глаза, ближе к сеновалу стал терпимее; сухая солома сберегла в себе ширь и свет степей, чистый запах жнивья. Почему Булат привел его сюда? Или туалет внутри сарая?! Они прошли мимо коней, коров, загнанных в изгородь овец, и остановились в полутемном месте.

– Изволь, шеф, весь сарай в твоем распоряжении, садись, где хочешь, делай свои дела. – Надо было видеть бесстыжее, дьявольское выражение лица этой сволочи в тот момент! – Здесь тепло, уютно. Ни о чем другом не переживай, они всё выгребают вместе с навозом скота. Я выхожу, а коров не стесняйся, они смотреть не будут…

Эта «шутка» Булата поначалу покоробила его, задела за живое, – ведь должна быть разница между ним и коровой, гадящей где попало, – но он тут же подумал, что человек сам всё усложняет в жизни; по сути же всё намного проще и удобней.

Увидев свое отражение в зеркале над умывальником, он испугался; всё лицо перепачкано сажей, под глазами свисают мешки.

– Пока вот умойтесь слегка теплой водичкой, скоро всё равно растоплю баньку, – раздался радостный голос Айрат-акя.

Как только он зашел в дом, тетя Сулуджан принесла и поставила на стол огромное блюдо с горячей едой, от которой шел пар. После дала каждому большой стакан айрана, – потом он понял, что это был кумыс, – и вдобавок по пиале горячего бульона.

– Ешьте, ребята. Мясо ешьте, хлеб ешьте.

Крупные жирные куски на мучной лепешке, сладкий запах мяса совсем свел его с ума, – мясо так хорошо отварилось, что само отделялось от костей – но он выжидал, чтобы кто-нибудь начал первым, и он увидел, как надо есть это блюдо; он впервые видел бешбармак, не знал, с какой стороны подступиться к блюду. На столе не было ни ложек, ни вилок. Как только Булат занял свое место, он собрал пальцами в комочек тонкую лепешку, обмакнул в луковый соус и ловко отправил в рот.

– Вот как надо есть бешбармак, – Булат поднял вверх руки, и по пальцам стекал жирный соус. – Руками! Недаром ведь он зовется «бешбармак».

«Руками!» – его невольно передернуло.

– Вот я бестолковая, как же не додумалась-то, – тетя Сулуджан в спешке принесла вилку, нож, тарелку, сама положила ему еды.

– Это еще цветочки, раньше у нас бешбармак ногами ели, – этот Айрат-акя тот еще шутник. – Теперь типа культурными стали, руками едим.

– Хватит ерунду молоть, доходяга…

– Да ладно тебе, я же просто шучу. Какая, господи, разница, хоть жопой ешь. Главное, непременно вот с этим, – Айрат-акя опустил на стол словно тяжелый кулак литровую бутыль водки. – Сам гнал, шеф, 76 градусов тут! – Обращение «шеф» все домочадцы переняли от Булата.

– Утро только настало, а ты опять со своей отравой. Сначала хоть грузовик бы привезли, а потом…

– Тебе бы, маманя, сначала гостя приветить, – казалось, Айрат-акя нашел очередной повод для выпивки. – О машине не переживай, если придется, я ее привезу даже на лошади.

После этих слов все рассмеялись.

– Ты после ста грамм даже на себе можешь привезти, знаю, – вытирая руки о фартук, тетя Сулуджан с азартом подошла к столу. – Добрый гость всегда в пору, что еще могу сказать, милости просим, всегда будем рады.

– Ты о машине совсем не переживай, маманя, я сказал Жоре привезти грейдер, вот сходим и приволочем эту махину, – Айрат-акя взял граненый стакан, сказал «алдавай», в один глоток опорожнил водку и даже не поморщился. Будто пил не спирт, а воду.

После вчерашних дел было бы грешно не выпить. Последовав примеру Айрат-акя, он тоже сказал «алдавай», взял стакан, влил содержимое в горло и чуть не задохнулся. Пересохло во рту, водка прошлась по внутренностям точно наждачной бумагой. Опешив, вместо кумыса он взял бульон, чтобы запить горечь. Как назло, бульон оказался горячим и во второй раз обжег ему весь рот, горло, кишки, да так, что из глаз выступили слезы.

– Ты хоть разбавил бы гадость эту! – тетя Сулуджан влепила сильную затрещину взрослому мужчине. – На него посмотри, смеется еще наглым образом!

Айрат-акя не подал виду, но порядком сконфузился. Он молча встал и отправился за водой.

– Как только зима – они хватаются за водку. И стар, и млад. Ни одного трезвого не найти, – тетя Сулуджан будто бы оправдывалась перед гостями. – А еще мужиками себя называют, бессовестные. Вы с ними особо не водитесь, все как один – алкаши. Ни работы, ни заботы, до самой ночи только бухают. А как выпьют, всё умишко и теряют…

Поначалу ему пришлось не по душе такое грубое отношение друг к другу этих простых людей, готовых поделиться с гостем последним куском хлеба, лишь бы тот остался доволен, – особенно ему претило верховодство жены над мужем, – но немного спустя он понял, что все их шутки, колкости и рукоприкладство мимолетны, без обид, теплы, как летний дождик. Постепенно он и сам вошел во вкус, – Булат всё равно чувствовал себя, как рыба в воде, – и тоже начал шутить. Шутил, смеялся, словно был знаком с этими людьми целую вечность. Но да будет проклят дьявол за дьявольские наущения: ни с того ни с сего он задался вопросом: почему у таких дородных крупных женщин мужья в обязательном порядке должны быть худыми, хилыми? Наверное, жены время от времени превращают мужей в выжатый лимон, вот почему. Он всё старался отогнать эти неблагородные и неблагодарные мысли о столь добрых и скромных людях, но никак не получалось. Будь проклят дьявол! «Интересно, тетя Сулуджан в постели тоже верховодит?» – он мысленно раздел Айрат-акя и тетю Сулуджан, уложил их рядом голышом и еле удержался от смеха. «У невысоких мужчин член большим бывает, – вспомнились ему слова крепко сбитой женщины, прохаживающейся с половником в руках в забитой мужиками рабочей столовой и содрогающейся от хохота. – Размер значения не имеет, главное, чтоб аппарат был в рабочем состоянии». Надо было как-нибудь отвлечься и спастись от этих позорных мыслей. Но как? Обеденный стол примыкал к окну, он сконцентрировал всё внимание на вое ветра снаружи и собрался подумать о чем-то другом.

– Шо вы тут без меня нах..!

Шумное появление грейдериста избавило его от великого позора. Еще немного, и он прыснул бы в кулак.

Грейдерист приходился тете Сулуджан родным братом, войдя внутрь, он тут же снял шапку и бушлат, швырнул их в угол, быстренько наполнил стакан, держа его в руках наготове:

– Какие люди в Голливуде! Давайте знакомиться нах.. Меня зовут Жайдарбек. Можете звать Жайдаром или Жорой. Но легче Жорой, тут все меня так зовут, – он поздоровался за руку с гостями и обратился к сестре: – Сестричка, тут мне не перечь, гости сегодня мои, не обижайся. Пусть тут закруглятся – идем ко мне. Я для них такую баньку растопил! Сама знаешь, каков я по этой части, с самого утра старался, только сейчас закончил. Отличный куырдак зажарил, из свежей говяжьей печени…

– Какая еще баня, какой еще куырдак! Ты чё, совсем спятил?! Ступайте за грузовиком! – тетя Сулуджан вышла из себя. – Машина уже сутки стоит в поле беспризорная, а вы только думаете, как нажраться. Чтоб вам самим шипеть на огне, как куырдак…

– Ну что нас проклинаешь, сестричка, идти туда в такой снег смысла не имеет, – Жора тоже произнес «алдавай» и выпил водку без всякой закуски, вытер рот рукавом и смешно отвесил поклон сестре.

– Сейчас только водку пить, да? Башка деревянная. Ей-богу, Жора – обжора. Во всем виновата твоя жена, мозги у ней куриные, каждую выходку твою терпит…

Дом Жоры находился на том конце деревни.

Жора оказался настоящим знатоком и мастером по части бани. Банный процесс купания являлся для него целым ритуалом. Раздевалка была битком набита всевозможными вениками, сотней баночек с маслами и медом для массажа. Следующее после раздевалки помещение предназначалось особо для еды и возлияний. Это было удобное, уютное местечко: там искупался, здесь выпил и закусил. Куырдак оказался вкуснейшей едой – жаркое из внутренностей и картошки. Жора принес и поставил еду прямо в сковородке. Еще он принес копченой конины, тарелку квашеной капусты и снова литр «самогона», – водка из магазина стоила дорого, видимо, каждый гнал «самогон» у себя дома.

Сначала он уложил перед собой его, затем Булата, и хорошенько помассировал, каждого без малого час, затем прошелся можжевеловым веником и размял напряженные мышцы. «Можжевельник сразу снимает простуду, то, что как раз вам и надо, вы простудились в пути. Можжевеловая смола – крутая вещь, достаточно оставить на полчаса в кипятке, чтоб смягчилась, и всё, все нервы как рукой снимает. Но и тут знатоком надо быть, не каждый может изготовить можжевеловый веник…», – он с таким азартом прошелся по ним веником, что всё выпитое и съеденное ушло вместе с потом и водой. Да так, будто вовсе и не они умяли целое корыто приготовленного тетей Сулуджан бешбармака с литром водки. Выйдя из жаркой бани, красные, распаренные, они набросились на жирный куырдак, выпили по сто с возгласом «алдавай» и снова забежали внутрь.

Баня трещала по швам от их громких голосов, распевающих песни:

«Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня…»

«Хоть женат, хоть холостяк,
Веник, водка, и ништяк…»

Один Бог знает, как они вернулись ночью по дороге в тридцать домов: ползком, валясь с ног, крича и горланя…

«Хоть казах, хоть сибиряк,
Веник, водка, и ништяк…
Баня — это не пустяк!..»

«А КамАЗ-то мы забыли.
Завтра вспомним, люди скажут…»

Он проснулся от грохота трактора. Стало известно, что Айрат-акя с Жорой отправились спозаранку за «КамАЗом», загнали его в бокс и вернулись обратно.

Вечерняя попойка отзывалась резью в животе. Он чувствовал себя отвратительно. В носу все еще стоял запах можжевельника, отмоченного в кипятке и дешевого самогона, отдающего горелой резиной. От самого желудка до горла стояла мерзкая кислятина, он не переставал покрываться холодным липким потом. Выйдя во двор, он тут же отошел в укромное местечко подальше от глаз, засунул два пальца в рот и выблевал чуть ли не все кишки. Умылся снегом и пришел немного в себя, успокоился.

Когда он вошел внутрь и увидел на столе «литровку», ему опять стало плохо.

– Шеф, выпей всего сто грамм, – Айрат-акя уже налил в стаканы, – похмелье снимет как рукой. Если не выпьешь, до самого вечера будешь ходить смурной.

Голова трещала от боли, внутренности распирало, но, стиснув зубы, – другого выхода не имелось, – он отправился на тот свет, заставил себя глотнуть водки. И как выпил, прав был Булат, в глазах стало светло, жизнь показалась ему расчудесной.

Вторая стопка пошла, как по маслу.

Тетя Сулуджан тоже была в приподнятом настроении. Она расстелила белоснежную скатерть, принесла всё, чем была богата: масло, сыр, яйца, сливки…

Они сказали «алдавай» и выпили без всякого тоста.

Тетя Сулуджан ластилась к брату и мужу за то, что утром они привезли машину.

– А это принесла твоя мадемуазель-жена, – сказала она Жоре и поставила на стол огромную чашу со сливками. – Встала утром, проделала огромный путь, дай, говорит, это ребятам, пускай покушают. Я ей говорю, сестра, у нас самих масла и сливок хоть отбавляй, вся посуда уже ими полна, девать некуда. Нет, говорит, как упертая, дай, говорит, пускай едят. Что ей, бедной, делать, столько времени уже сидит в четырех стенах, не знает, куда деваться. После того, как ушла Айсулу, совсем она голову потеряла. Как увидит кого – сразу готова последним поделиться. Я так ее упрашивала, но она даже за порог не ступила…

Он обратил внимание, что всё на столе домашнее. Магазинного ничего нет. Обычные рис, макароны, чай, конфеты считались здесь редкими и ценными продуктами.

– У вас в деревне нет магазина? – и самому ему вопрос показался неуместным.

– Есть, но лучше бы его не было, – ответила тетя Сулуджан. – Какой в этой дыре может быть магазин. Кроме водки, там ничего и не продается. У черта на куличках живем. А если еще ветер слегка подует, пиши пропало, все дороги заметает, отрезает от остального мира, да так, что рухни этот мир – мы и не услышим.

– Если нам чего-нибудь надо, едем в центр, – сказал Жора. – Магазин, лекарства, покупки… Недалеко отсюда, на лошади минут сорок-сорок пять.

Ему надо было обменять деньги. У них не было возможности их обменять с тех пор, как они въехали в Казахстан. Деньги у него были в рублях, но нужны была казахская валюта на ежедневные расходы, для оплаты труда мастера. Вдобавок надо позвонить Саше. Они с Савченко расстались всего дня четыре назад, а казалось, целую вечность.

– Мне надо домой позвонить, – сказал он.

Они решили, что Булат с Айрат-акя пойдут к машине, – там должен кто-то находиться, когда заработает мотор, – а в райцентр он отправится вдвоем с Жорой.

Так всё и вышло. Айрат-акя с Булатом сели на трактор Жоры и поехали в поселок, а Жора вывел из сарая коня Айрат-акя. Тетя Сулуджан за считанные минуты устлала повозку паласами словно свадебную машину. Они тепло оделись, пропустили на всякий случай по стопке и пустились в путь. По сравнению с прошедшими днями ветер немного поутих, да и дорога оказалась недальней, Жора всю дорогу шутил и смеялся – они и не заметили, как доехали.

Райцентр оказался гораздо меньше, чем он ожидал. Две главные улицы, всего один светофор. Сперва он зашел на почту и позвонил Савченко. Телефон звонил и звонил, но трубку никто не снял. Потом Жора покатил в какое-то местечко, напоминающее базар, чтобы обменять деньги. У входа стояла группа маклеров, они-то и занимались этим делом. Они прибрали все казахские тенге, что имелись на руках, но он сумел обменять лишь половину денег, – русский рубль имел тут настоящий почет и уважение! Увидев целый чемодан обменянных денег, Жора не на шутку перепугался: «Тут полно ворюг, давай скорей закругляйся и погнали обратно…».

Цены по сравнению с российскими тоже были довольно низкими. Они скупили целыми ящиками всё, что нужно было для дома, нагрузили до отвала повозку, – у продавщицы глаза на лоб полезли. Не забыли и про водку, взяли два ящика чистой заводской. «Ну да, бухают целыми днями, пусть хоть заводскую пьют», – подумал он. Этикетка с названием на бутылках немало его удивила: «Царь Эдип». «Какой умник до этого додумался, это ведь трагедия…».

У Жоры тоже были кое-какие домашние поручения, закончив с делами, они еще раз наведались на почту. На сей раз ему повезло – Саша оказался дома. Но лучше бы этого не случилось; Савченко, как обычно, рассказал ему кучу всего непонятного. По его словам выходило, что обнаружить воришку удалось, но деньги еще не нашлись: «Вся братва Элисты поднялась, услышав имя Татара. Этого козла нашли за день и бросили в подвал. Как цыкнули – тот сразу и раскололся. Заказчик, знакомый с тобой человек, – лучше бы он этого не говорил. – У его сына карточный долг имелся, вот и отправил к тебе за подмогой. А ты, мил человек, взял да отвел его к себе… – а теперь иди пойми, что сказал Савченко. – Ну ничего, раз заявлено имя Татара, не переживай, деньги твои найдутся, обязательно найдутся. Ты лучше мне завтра еще раз звякни, к тому времени ситуация прояснится…».

Жора не знал, о чем речь, но уловил, что дело серьезное, – на всем обратном пути они не перекинулись и словом.

Чувствовал он себя паршиво.

«Жил себе спокойно, – думал он, – зачем надо было снова грязью мараться? Грязью, гноем, дерьмом. К черту эту Элисту и все эти деньги. «Знакомый с тобой человек». Да ну! Кто ж этот человек? Почему тогда он не знаком с тем, кто знаком с ним? Да катись оно к чертям собачьим. Ничего ему больше не надо. Ни дом, ни работа, ни друзья, ни деньги. Абсолютно ничего! Была б его воля, так и завалился бы здесь. Просто, без всяких пышностей, удобно и спокойно… И никуда отсюда ни ногой. Плюнет на всё – на прошлое, будущее – на всё! Разве осталось у него что-то в прошлом? Ни хера. Всё свое богатство он не променяет на единый волос с головы тети Сулуджан и Айрат-акя. Сулуджан станет ему названой матерью. Да у них, бедных, ведь тоже никого нет. Никого. Муж да жена. Да еще дочка, и то она, по их же словам, замужем за каким-то забулдыгой…».

Когда мотор пришел в порядок, выяснилось, что нужен новый «ремкомплект», который вряд ли тут найдется. Искать надо в самом Атбасаре, да и то если отыщешь.

– У меня там дяди живут… – тут же откликнулся Булат.

– Надо позвонить зятьку, он в этих делах хорошо разбирается, пускай купит и привезет.

– Ради Бога, не зовите сюда этого мерзавца, – вставила тетя Сулуджан, как только Жора заикнулся о проблеме. – Стоит только имя его услышать, как я выхожу из себя. Мерзавец поганый испоганил такого ребенка. Такого ангела, как Айсулу. Как можно было выдать ее за такого гада! Как вспомню, закипаю от злости. Я во всем виновата…

– Ладно, делать-то что будем? – вскипел на сей раз Жора. – Ты скажи – мы сделаем.

– Пусть Айсулу сама принесет! Позвоните, пускай купит и передаст ей, она не ребенок, пускай принесет. Сто лет не видела родимую, так стосковалась.

– Мы же сегодня были в районе, знали бы – позвонили, откуда знать.

– Сам завтра схожу, – сказал Айрат-акя. – Сходим с Булатом.

– Да, сходим… – радостно согласился Булат.

– Делайте, что хотите, только избавьте меня от честного народа. С самого утра телефон звонит, не переставая. Тот звонит, этот звонит, спрашивают, куда и когда привезти мясо. Да мне-то откуда знать. Как будто тут мясокомбинат, а я его директорша! – тетя Сулуджан зашлась в хохоте от собственных слов. – Слышите, мне, бедной, еще взятки предлагают. Что хочешь, говорят, дадим, лишь бы забрали у нас мясо. Ей-богу, люди по дюжине коров забили.

– Таким ходом нам места не хватит для всего этого мяса. – Айрат-акя придал лицу деловой вид.

– Ничего, остаток оставим на следующий рейс. – Все рассмеялись словам Булата.

В тот день их позвали в гости сразу в несколько домов, даже упрашивать пришли, но тетя Сулуджан оставалась непреклонной: «Сидите дома, ешьте, что Бог послал, отдыхайте, нечего слоняться по чужим дворам».

Утром Айрат-акя и Булат собрались в райцентр, тетя Сулуджан еще раз крепконакрепко поручила им, чтоб Айсулу приходила сама. Полушутя-полусерьезно она добавила: «Пусть только попробует не прийти, сама отправлюсь за ней и приволоку за волосы».

Он не выдержал, дал номер Савченко Булату, – всё равно ведь они собирались зайти на почту – чтоб тот позвонил и узнал, как обстоят там дела в Элисте.

Как назло, и Жору в тот день позвали на работу. После нескольких дней непрестанной бури погода установилась сравнительно спокойная, и всю районную технику привлекли для расчистки бетонной дороги.

– Я на пару дней, шеф. Как раз вы к тому времени закончите тут с делами, а я расчищу вашу дорогу и вернусь обратно. Может, еще улучу часок-другой и прибегу, я тот еще бегун.

После ухода Жоры он начал сожалеть, что напрасно не поехал в район вместе с Булатом. Так хоть занял бы себя чем-то. И что он будет тут делать наедине с тетей Сулуджан? Всё равно после вчерашнего разговора с Булатом он начал чувствовать себя не в своей тарелке.

– Шеф, обратил внимание, как смотрела на тебя жена Жоры, когда ты выходил из бани?

– Нет, а что? Я тогда был не в себе.

– Я по-настоящему перепугался….

– Не мели ерунду, говори прямо.

– Помнишь Сэллу, шеф?

– Девушку в кафе? Конечно, помню.

– Что она сказала тебе вослед?

– Ну да, сказала, что хорошо иметь такого мужа. И что? Что тут такого?

– Жена Жоры тоже так на тебя смотрела, шеф.

– Спятил?! Не стыдно тебе? Она ж тебе в матери годится?! Они нас так хорошо приветили, накормили-напоили… И это твое спасибо?

– Не веришь, шеф…

Он не только не верил, но даже стеснялся мельком об этом подумать.

К счастью, времени скучать не нашлось, тетя Сулуджан поручила ему столько дел, что он даже не заметил, как пролетело время. Айрат-акя еще ночью зарезал десятикилограммового барашка (Айрат-акя сначала хотел зарезать жеребенка, но он не позволил, еле отнял у него нож; у здешних людей такой обычай – самому уважаемому гостю преподносят мясо молодого коня), тетя Сулуджан собиралась приготовить к ужину узбекский плов, она велела ему нарезать мясо, показала, как надо готовить лук, морковь и рис для плова, шутила и смеялась, не давая ему заскучать.

– Эх, моя молодость тоже прошла в тех краях… Под Тюменью. Лучшие деньки мои были… В этой дыре не было ведь ни работы, ни денег, да и сейчас нет, вот мы и подавались в те края, находили кой-какую работенку в столовых… Ты не смотри, что я сейчас такая, в молодости я ох какая была, а что ты думал, многие по мне сохли, да, – тетя Сулуджан хихикала, заливалась смехом. – Рослые плечистые красавцы бывали, точь-в-точь, как ты, эх!.. Беззаботные, вольные мои дни. Дурой была, мне бы зацепиться за одного из таких и уехать, но нет, осталась в этом курятнике…

Самый настоящий момент, чтобы завести речь об отце! Хотел спросить, видела ли она такого человека, с таким вот именем, такого роста… Раз тетя Сулуджан в ту пору работала в столовых, она обязательно узнает его отца, ибо по словам Петровича выходило, что там каждая собака его знала. Даже захотелось достать и показать ей фото отца. Но нет! Его прошлое, в особенности часть жизни, относящаяся к родителям, была зоной «строгого режима»; зона, закрытая для всех и каждого, даже для ближайшего друга. В ту пору, когда он собрался на север, дал себе слово: он приступает к новой жизни, и в этой новой жизни нет места безотцовщине, нет места сиротству. Он никак не мог смириться с этим фактом, всегда этого стеснялся. На розыски родителей отправлялся в одиночку, тайком, чтобы никто ничего не почувствовал, не понял, чтобы никто не ощутил его тоску, его больное место. Он не хотел, чтобы его жалели, горевали по его участи. Наоборот, у него была выверенная до мелочей светлая «автобиография», в которую он готов был и сам поверить. Отец вроде бы известный химик, долгие годы преподавал в университете. Мать, Вера Васильевна, – знаменитый в городе терапевт (ничего лучше врачебного дела для «мамы» и не придумать). Муж сестры возглавляет большую страховую компанию…

– Маманя, такого зятька не ценишь, – Айрат-акя с Булатом вернулись из райцентра в приподнятом настроении, – он сам за пару минут всё решил. Мужика уважают в Атбасаре. Он сам меня опередил, сказал, что с работы не отпустят, сам всё купит и перешлет через другана, пусть Айсулу и доставит. Я позвонил Айсулу, маманя, бедняжка так обрадовалась…

Глаза Булата тоже горели. По всему его беспокойному виду чувствовалось, что

он пришел с важной вестью. Улучив момент, Булат тут же отвел его в сторонку:

– Деньги твои нашлись, шеф! Савченко так и сказал! Сказал, пусть ни о чем не переживает, деньги нашлись до последней копейки! Какой же этот Савченко хороший человек…

В тот день они не спали до глубокой ночи. Ели-пили, смеялись и шутили. Весть о деньгах была хозяевам до лампочки, – вообще этот вопрос мало их занимал, – у них была своя радость, и эта радость затмевала собой целый свет: придет Айсулу. Ее визит уже превратился в праздник, они не могли усидеть на ровном месте…

– Видал, шеф, я ж говорил, всё будет хорошо, – Булат не мог угомониться, даже когда они легли спать. – И деньги нашлись, и дела наладились, чего еще надо. Знал бы, шеф, сколько тут мяса. Только грузить успевай! Но, храни Бог, от того ужасного дня… – тут голос Булата сник, он вперился в ночную тьму, паузу между словами заполнила скрытая печаль. – Я сам там молчал, ничего вам говорить не хотел… Когда развалился мотор, я подумал, всё, нам конец. Когда оставил вас и ушел, даже не верил, что еще свидимся… Кто бы знал, что тут есть люди… – На самом же деле весь голос, вся радость Булата сникли по другой причине, его мысли и чувства смутило совершенно иное, и это постепенно уводило его от беседы и всасывало в беспокойную и бездонную пучину. «Деньги из дому украл его родной брат. Бандиты убили его в перестрелке, – Савченко, сообщивший о находке, проболтался и об этом (Савченко не был бы Савченко, если не приукрасил бы события и облегчил сердце) и, кажется, в ту же секунду пожалел о сказанном. Он крепко-накрепко поручил Булату ничего об этом ему не говорить. – Я и сам был в шоке, когда услышал. У него ведь не должно было быть брата. Не должно! Детдомовский он, откуда взялся этот брат из Элисты! Ан нет, оказывается, был брат, да и отец в придачу. Жалкий калека в инвалидной коляске. Он сам направил сына на север, чтобы тот отыскал брата и они стали поддержкой друг другу в трудную минуту. Откуда отцу знать, что всё так обернется. Оказывается, большой карточный долг имелся у сына, не мог вернуть, ему хвост прижали, бабки требовали. Приставили к нему человека, сказали, знать не знаем, брат твой или нет, иди, куда хочешь, к кому хочешь, только долг верни! Короче, роди! А этот молодец даже представляться не стал, завел с братом знакомство, пригрелся змеей на груди, отправился к нему домой, подмешал снотворного в еду и выгреб всё бабло… Бедняга отец… после этого крутился, как умалишенный. Танцевал над телом родного сына. Не станцевал на твоей свадьбе, говорил, так хоть на поминках станцую! Танцевал до упаду, а потом достал нож, который всегда носил в коляске, и прямо там же вогнал себе в сердце. «Грешно мне жить на белом свете», – сказал на последнем дыхании. Бога ради, ты ничего этого ему не рассказывай, сирота он, сердце и так разбито, пускай вообще ничего не знает, – еще раз накрепко поручил Савченко. – Главное – деньги, и они нашлись…».

«Как это: главное – деньги?! Умерли его отец и брат, а главное, оказывается, деньги?! Выходит, не будь тех денег, его отец и брат остались бы в живых?! Его деньги послужили причиной смерти родных?! Как можно скрывать такое от него?! Раз так, какая польза от того, что деньги нашлись!..» – Булат был крепко пьян, да и устал после дороги, так и вырубился, не найдя ответов на эти тяжкие вопросы…

А он глаз сомкнуть не мог. Старая его привычка: если долго о чем-то размышляет, заснуть не может. Весть о находке денег порядком его взволновала. Он не мог представить, что ему вернули целый сейф денег. Он включил свет – Булат заходился трехэтажным храпом – и стал ходить взад-вперед.

«Всё встало на свои места, – думал он. – Нашлись деньги, потихоньку идут дела. Он встретил таких чистых, благородных людей, как Айрат-акя, тетя Сулуджан, Жора. Даст Бог, как-нибудь и отца отыщет. Может, даже и мать найдет, кто знает… А не то думал о всякой ерунде. Чуть с ума себя не свел мрачными мыслями. Поверил во всякую чепуху: «Эту мерзость не отмоет и семь поколений. До тех пор, пока не отыщется последний мужчина в этом роду и не умрет за тот же самый грех!..» Где это написано, где сказано? Да разве может быть такое?! Разве грех грехом отмывают?! Да ни за что в жизни! С каких это пор грехом грехи отмывают?! Или вот это: «Ты тоже приговорен… Ключи у тебя…» Да неужели?! Будь ты проклят! Раз ты такой уж всезнайка, иди себе жизнь устрой! Сам старик, а парням, которые тебе во внуки годятся, воду в тазике тащишь…»

Хорошо хоть Булат вовремя его отыскал. Не то, как справился бы он в одиночку?! Сам Бог послал Булата ему на выручку, прямо с неба спустил перед Бройлерной фабрикой.

Не то… Ведь никакой речи о Булате во время этой поездки в Тюмень не шло, – он не мог даже четко вспомнить, был или нет такой человек в его фирме, – основные его претензии были к Старику, к этому загадочному существу…

Вдруг его взгляд остановился на страшной, ужасающей тени в углу окна! Всё случилось в мгновении ока и… о, Боже, что это было! Из центра окна, очищенного от снега и льда, на него неотрывно смотрела пара широко раскрытых, вышедших из орбиты глаз! Разглядеть толком было нелегко, но вне всяких сомнений – в окно смотрела женщина средних лет. Что говорили те глаза, о, Боже, чего от него хотели в этот час ночи?! Что пылало в тех глазах – страх или тоска, страсть или мольба?! Женщина пожирала его взглядом от макушки до пят! Она тут же отошла от окна, почувствовав, что «поймана». На месте ее головы остался черный провал, и этот мрак, превратившись в тяжелый камень, повис у него на сердце, и у него потемнело в глазах.

Вот и всё! Он больше не может оставаться в этом доме. Завтра же они уберутся отсюда. Уберутся непременно, даже если конец света настанет!

Ему уже давно ничего не снилось. В ту ночь он увидел во сне тетю Сулуджан. Он снова увидел Проклятое озеро, но на сей раз не тонул, наоборот, поверхность озера покрыл слой льда, а он вместе то ли с Булатом, то ли с Савченко – уточнить, кто именно, не удавалось – пробил лед и закинул удочку. Но настал вечер, а на крючок не клюнуло ни единой рыбешки. Настроение поганое. И в этот момент он увидел тетю Сулуджан, радостно бегущую к ним, держа в руках сеть с железным ободом. Она выглядела такой счастливой, всё лицо будто озарилось небесным светом. Добежав, она протянула ему сеть: «На, сынок, лови вот этим».

Он забрасывал сеть в воду и каждый раз вынимал ее набитой мелкими рыбешками. Рыбы было так много, что они не знали, куда от нее деваться. Скучившись на снегу, рыбы бились и трепыхались…

***

Сказали, пришла Айсулу, все побежали к дверям.

Она оказалась чахлой девушкой с бледным лицом. Несмотря на свою изможденность, она в одиночку проделала большой путь. Снег покрыл ее шаль, шарф, тулуп – вплоть до самых ресниц. Она сошла с саней – будто подснежник выбился из-под снега; Айсулу принесла в больших зеленых глазах весеннюю свежесть.

Чужие люди в доме сперва несколько ее смутили, – она часто моргала голубиными глазами, будто стараясь оценить новую для себя ситуацию, – но, тем не менее, она кивала головой на бесчисленные вопросы тети и добро улыбалась.

– Моя умница, мой ягненочек… – тетя Сулуджан так и тряслась над своей любимицей, усадив ее возле печи, крутилась вокруг, как мотылек над свечой, ласкала, приголубливала, расцеловывала свою девочку.

Айрат-акя от радости застыл как вкопанный посреди комнаты.

– Пойду сдам детали машины, – наконец пришел в себя он, – моторист уже второй день ждет запчасти.

– Погоди, прихвати и Айсулу, пускай увидится с той горемычной. Наверное, уже прослышала, ждет не дождется, – сказала тетя Сулуджан. – Она что-то к нам ни ногой с тех пор, как пришли ребята. Сама не пойму, в чем дело. Бедняжка, как будто новобрачная, из-за занавески выглянуть стесняется. Каждый раз приходит и уходит, не переступив порога. Иди поскорей, встреться с ней и возвращайся, у меня к тебе дело, – обратилась она к Айсулу.

Как только вернулся Айрат-акя, тетя Сулуджан поручила ему натопить баню: «К завтрашнему дню машину уже починят, тут от людей яблоку негде будет упасть, пускай сейчас спокойно искупаются», – сама Сулуджан тоже не могла спокойно усидеть на месте. Засучив рукава, она готовила еду чуть ли не на целую свадьбу.

Баня Айрат-акя уступала бане Жоры, но тоже была хороша, тут не нужны были какие-то дополнительные бонусы, они хорошенько искупались, похлестали себя веником и вышли. К тому времени тетя Сулуджан уже приготовила еду. Снова накрыли стол, и снова начались «алдаваи»…

Айсулу вернулась скоро, – жена Жоры доставила ее и снова не переступила порога, – она привела одежду и внешность в порядок. Девушка расцвела, как цветок. Ее лицо алело. Чистый и звонкий голос Айсулу рассыпался вокруг мельчайшими брызгами, она как птица легко порхала туда и сюда при каждом поручении матери.

– Как она похожа на Сэллу, шеф.

От слов, прошептанных ему на ухо Булатом, он чуть ли не всплеснул руками. Ведь всё это время он пытался найти, на кого же она похожа. Сэлла! Конечно же, Сэлла. Почему ему самому не удалось отыскать эту очевидную схожесть? Очевидную из очевиднейших! Будто две половинки одного яблока. Правда, Сэлла была чуть белее и чуть выше, но всё остальное – осанка, манеры, глаза, брови… – один к одному. Дело было не только во внешнем сходстве, в ее глазах присутствовала такая таинственная притягательность, – точь-в-точь, как у Сэллы, – что при каждом взгляде его сердце таяло. Он не переставал ругать и упрекать себя: ведь она законная жена другого, хватит, стыдно… Но ругай не ругай! Таинственные очи Айсулу при каждом взгляде сводили его с ума. Как облако внутри Проклятого озера окутывали его конечности и превращали в безвольное существо. И это тайное переглядывание, кажется, не ускользнуло от внимания тети Сулуджан. Ему даже почудилось, что тетя Сулуджан насупила брови и потрясла пальцем: «Ну-ну-ну!» Но нет… кажется, это тайное сближение было ей по сердцу…

Он сейчас же должен взять себя в руки, угомониться. Он закурил сигарету и вышел на чистый воздух. Видимо, в последнее время потерял способность рассуждать аналитически. И всё из-за водки. Без выпивки не было ни дня с его появления здесь. Утром, днем и вечером, они пили три раза в день. «Алдавай, алдавай, алдавай…» Да сколько можно! И что?! А вот и то. Утром, глядя в зеркало, он не узнал себя: всё лицо

мертвенно побледнело, руки и ноги опухли, кожа потеряла эластичность, достаточно нажать пальцем на ту или иную часть, и там остается вмятина. Да и сам Булат, несмотря на язву в желудке, столько набухался самогона, что под глазами висели огромные мешки, напоминающие спелую мушмулу. Поскорей бы убраться отсюда, да. По словам Айрат-акя, машина уже завтра будет готова. Моторист обещал, что сдаст работу завтра, даже если придется работать всю ночь. Да, было бы здорово. Деньги тоже отыскались, чего еще пропадать в этой дыре. За мясом они пришли, оставшись в безвыходной ситуации, – и плюс от безделья, – зачем идти на риск, когда на границе карантин.

Ничего, он заплатит людям по максимуму за забитый скот…

Но Айсулу! Откуда взялась эта сучка? Одним взглядом она заключила его руки в кандалы и бросила к своим ногам. Ему так хотелось позвать ее и схватить за грудки: «Кто ты, Айсулу? Почему ты сюда явилась?! Не могла прийти на два дня позже? Чтоб я спокойно отправился к своим чертям…».

Он зашел в дом и увидел Айрат-акя «выключенным» за столом. Тот уронил голову на грудь и так сидя уснул. Тетя Сулуджан поволокла его безвольное тело в постель.

Булат тоже засиживаться не стал. «Утром мне в гараж», – сказал он и отправился спать.

– Доченька, пойдем искупаемся, пока баня не остыла. А этот молодой человек заварит к нашему выходу хороший чаёк.

После этой шутки тети Сулуджан Айсулу обернулась на нее, улыбнулась.

Как только все разошлись, он налил себе водки в граненый стакан и выпил без всякой закуски. Взглянул на этикетку с названием – «Царь Эдип» – и глубокомысленно улыбнулся: интересно, какой «умник» отыскал для водки такое название? Затем налил себе еще. И в эту ночь он не сможет спокойно уснуть, теперь его мысли начнет занимать Айсулу. И не только мысли, но всё существо! Откуда взялась эта чертовка? Поработила все его сознание, всю волю. Да к черту всё, и вместе с ним Айсулу. Они кое-как переживут эту ночь, а завтра дадут дёру. Не хватало еще с ума себя сводить по мелочам. После того ночного происшествия оставаться здесь всё равно было невмоготу.

Кто наблюдал за ним в окно?! Какого хрена женщина, которая в матери ему годилась, пожирала взглядом его голое тело?..

Он ощутил затылком горячее дыхание, резко обернулся и встал, и тут увидел перед собой тётю Сулуджан. Та раскраснелась, как маков цвет, после бани всё ее лицо, шея и горло побагровели. Плюс сильно запыхалась. Словно старалась скрыть, задушить какие-то постыдные чувства, но не могла; крупные, здоровые груди, покачивающиеся на толстом животе, как курдюк, безжалостно ее выдавали; они призывно свисали, как сладкая дыня в бахче. «Да она не такая уж и пожилая, бедняжку старит полнота», – он и сам вздрогнул от мысли, мгновенно пронзившей его мозг и плоть. Непонятное состояние этой простой женщины, к которой он пригрелся, как к матери, показалось ему опасным. Чтобы как-то выкрутиться из ситуации, следовало что-то сказать.

– Чай готов, тетя Сулуджан, вам налить? – вымолвил он.

– Отнеси это Айсулу, сынок, – глухо прошипела эта крупная женщина, будто сбрызнули водой тлеющие угли, и протянула ему полотенце. – Бедняжка забыла прихватить с собой…

В ушах застучало, сердце стало биться в висках. Схватив полотенце (каким же неблагородным человеком он оказался, нарушил гостеприимство в доме мужчины, спасшего его от верной смерти, ну пускай он выпил и отключился, – всё равно он поступал неблагородно и неблагодарно), он побежал в баню, весь охваченный страстью, бурлящей в груди, как горный поток…

– Кто там? – тут же отозвалась Айсулу, как только он постучался в дверь.

– Я… – собственный же голос показался ему чужим.

Некоторое время никакого отклика не последовало, затем не стало слышно и плеска воды, нависла глубокая тишина в темноте. Всё еще было не поздно, он мог бы положить полотенце у порога, повернуться и уйти, но от легкого скрипа отворяющейся двери у него задрожали коленки. Дверь открывалась всё шире, и окрашенный в желтоватый свет бани теплый туман коснулся его дыхания, покрыл поцелуями шею и горло, разошелся по всей плоти, просочился вовнутрь и пропитал всю душу. С одной стороны – бархатная хмель от водки, с другой – теплое дыхание бани, а с третьей… Айсулу стояла на пороге в одном тоненьком халате! В одном халате! Промокший и прилипший к телу тоненький халатик ясно подчеркивал все выступы и впадинки только-только созревшей женской плоти, истосковавшейся по мужским рукам, мужскому дыханию, мужской силе. Девушку трясло, то ли от холода, то ли от волнения. Она пугливо дрожала, крепко-накрепко сжимая руками ворот халата. Посиневшие губы молили о пощаде…

«Двери» дрожащей плоти раскрылись ему навстречу одним касанием пальца. Сначала его руки, а потом губы прошлись по мокрым волосам, коснулись влажных губ, прошлись по худому телу сперва поверх халата, а затем и под ним… Он взял ее легкую, как птица, на руки, – халат соскользнул и упал на пол, – и уложил поверх трехэтажной скамейки в парной…

«Нет, не здесь, не здесь, не сейча-а-ас…».

…Он снова видел тот же сон.

Святое озеро снова покрылось льдом, они проломили лед и закинули в озеро удочку – он снова не мог уточнить, с кем находился, то ли с Савченко, то ли с Булатом, – и как назло не клюет. Потом он увидел тетю Сулуджан, бегущую к ним. Она летела… с легкостью, не подобающей своему возрасту и весу. Да, летела, лицо всё сияло от радости. Добежав, она протянула ему полотенце: «На, сынок, лови вот этим». Он опешил: как можно ловить рыбу полотенцем? Взяв в руки полотенце, он увидел, что это вовсе не полотенце, а сотканная из крепкой веревки сеть с крепким железным ободом. Он закидывал сеть в воду и каждый раз доставал ее набитой мелкими рыбешками. Вдруг он увидел, что вокруг полным-полно рыб, они кишат, копошатся на снегу словно пчелиный рой. Но среди рыбешек он увидел одну огромную, чуть ли не в человеческий рост, рыбина трепыхалась, била хвостом и хотела вернуться в родную обитель – в воду. Он ужасно сожалел о том, что вынул из воды эту рыбу. Но ужаснее всего было то, что, как бы он ни старался вернуть рыбу в воду, не получалось; руки-ноги его не слушались, он не мог даже шелохнуться. А когда он увидел ее глаза… О Боже, глаза этой рыбы… это были овечьи глаза! Он чертовски сожалел о своем поступке. Всё равно ее мясо несъедобно, ругал он себя, оно сладкое, как человечина, – будто он знал, какова человечина на вкус! – какого черта далась ему эта рыбина!..

Он снова проспал до полудня. Шум и гам, столпотворение снаружи рвались поднять его с постели, но он поглубже просунул голову под подушку. Он постепенно осознавал, что ночной случай в бане был не сном, а горькой реальностью, и не знал, куда деваться со стыда. В какое же дерьмо он вляпался! Как теперь станет смотреть в глаза Айрат-акя? Что будет делать при встрече с Жорой? Да, они ничего не знают, но это дела не меняет. А как же его собственная совесть, его честь?!

Он просил у Бога только одного: провалиться сквозь землю, и на этом всё.

Кто-кто, а вот Булат – тот еще проныра – видать, что-то пронюхал; отправляясь утром в поселок, он ткнул его локтем и вонзил свое жало: «Видал, шеф, я же говорил, всё будет шикарно…».

Он еще раз удивился всеведению Булата.

– Вставай, шеф, вставай, хватит притворяться, – Булат, как и в прошлый раз, стянул с него одеяло, – люди ждут, Жора тоже пришел, вставай.

Они остановили грузовик с включенным двигателем на пустыре за домом. Машину окружил народ, да так, что яблоку негде было упасть. Айрат-акя взвешивал мясо, – откуда им удалось найти в этой суматохе весы на тонну?! – он тут же расплачивался, а мясо потом грузили в контейнер. Все улыбались и были довольны.

– Глянь-ка, шеф, – Булат отделил от замерзших туш свежезабитого жирного поросенка, – жалко отправлять в контейнер. Грешно, ей-богу, грешно. Давай сегодня зажарим этого красавца, а уже утром двинемся в путь, сегодня всё равно поздно…

– При одном условии, – даже Булат не ожидал, что он так легко согласится, – шашлык приготовлю я сам.

Он собственноручно нарезал мясо, посолил, поперчил. Сельские мужики будто того и ждали, они натаскали откуда-то сухих дров, развели мангал, принесли длинный стол. И каждый был рад поделиться, чем богат. За каких-то полчаса во дворе Айрат-акя стоял пир горой!

К счастью, всем удалось сдать мясо. Битком набитый запертый контейнер был готов к долгому пути.

Есть и пить за мангалом в мороз – совсем другое удовольствие; с каждой стопкой зима перед его глазами превращалась в весну. Люди, которых он видел впервые, казались такими родными! Кто-то принес гармонь, и снова разгорелось веселье, пошло по новому кругу. И стар, и млад – всё село стеклось на отзвуки веселья. После этого гулянье во дворе Айрат-акя стало напоминать праздник плодородия, и, конечно же, во главе всего этого стояла самолично тетя Сулуджан. Она покою себе не давала, находилась в постоянном движении, давала каждому какое-то поручение – к месту ли, не к месту. Словно управляла всем процессом единолично. Улучив минутку, она заговорщически шепнула ему на ухо, чтобы он не беспокоился, скоро придет и Айсулу: «Она унесла вашу одежду, привести в порядок перед дорогой…».

Было морозно, но потихоньку ощущалось легкое дыхание надвигающейся весны. Он только сейчас заприметил прибитый над дверью бычий череп и удивился тому, как мог до сих пор не увидеть такую огромную голову. Мангал разгорался сильнее, и казалось, череп оживал, таял покрывший его снег и лед, капая с уголка рта. Ему на мгновение даже почудилось: бык жив-здоров, пускает слюни, видя застолье во дворе Айрат-акя.

Стопка за стопкой ледяная водка разгоняла туман застарелой хмели, в голове прояснялось, и с наступлением ясности вся плоть и душа наливались свинцом; по мере того, как в памяти восстанавливались детали ночного происшествия в бане,

мутные и путаные чувства внутри процеживались и выкристаллизовались в ужасную догадку, вырывая его из круга веселья и всё ближе подталкивая к краю бездонной, непроглядной пропасти…

Проснувшись за полночь, он обнаружил себя в чужом пространстве без координат – в неизвестной тьме. Он довольно долго пролежал неподвижно на спине, приложил все силы, чтобы сфокусировать рассеянный свет из самой глубины непроглядной тьмы – и за это время в мозгу мелькнули сотни, если не тысячи мыслей, сомнений и страхов. «Изысканный аромат» хлева постепенно обретал сущность, силуэты коней и коров, чей сон был потревожен, начинали обретать очертания, тем самым усиливая его панику; как он мог здесь очутиться?! Может, его связали по рукам и ногам, избили и бросили на сеновал?! Глаза постепенно привыкали к темноте, и тут он увидел приникшую к нему как неоперившийся птенец Айсулу, смятые от движений двух тел простыни (будто побывавшие в пасти страшного зверя), и, увидев всё это, он и сам сморщился от тяжести навалившихся чувств. Он догадался, что кто-то заранее устроил всё это дело, и это оказалось самым ужасным. Причем устроил со всем размахом. А с другой стороны… его обоняние теребил какой-то непонятный запах, и как бы он ни старался, не мог определить, что же это за запах. Ни аромат сухой соломы, ни доносящаяся из угла хлева резкая вонь дерьма и мочи, от которой слезились глаза, ни студенистый душок пота и сопутствующих выделений, пролитых на сеновал в процессе затянувшихся до рассвета плотских утех, не могли отбить этот странный запах. Что же это за запах, о Боже?! Чего от него хочет этот тоскливый, беспокойный, мягкий, как шелк, липкий и теплый запах?!

«Почему ты так удручен? Из-за Жоры? Не бойся, он мне не отец…, – увидев его погруженным в глубокое разочарование, Айсулу подошла еще ближе, приникла к нему худой, потной плотью. – Не оставляй меня здесь одну, пожалуйста, забери с собой. У меня такое чувство, будто, кроме тебя, нет у меня никого во всем белом свете. Только мать, да и то она… Ты с ней знаком, она сошла с ума, думая об участи моего брата, жена Жоры…».

Выйдя из хлева, ему захотелось скрыться в комнатенке, где они спаслись от ужасной безвыходности, когда сбились с прямого пути. Ему хотелось, чтобы никто его не видел, никто ни о чем не расспрашивал, ничего не говорил, – ничего не признал о ночном происшествии. В рассветных сумерках увидев спросонья перед собой тетю Сулуджан с широкой деревянной лопатой в руках, он потерял дар речи. Сулуджан в одном только халате резво расчищала тропинку, ведущую к хлеву. Вдобавок распевала песни! Ей были нипочем ни снег, ни мороз; внутренней энергии хватало себе сполна. Лицо ее зарделось. Лицо Сулуджан светилось точно так же, как в его снах. Оно выражало покой и удовлетворение. Увидев его, Сулуджан рассмеялась каким-то ненормальным смехом – точно полоумная…

«Гореть бы тебе в аду, ведьма! Гореть бы целую вечность! Разве не ты устроила всю эту гадость?..»

Как бы он ни старался – не мог отделиться и отдалиться от ночных впечатлений. А может, облаку, которое неотступно преследовало его всё это время в снах, поднимая всю муть со дна души, удалось найти путь и просочиться в его явь?! Даже шутливые выходки окружавших его подвыпивших сельчан не могли отогнать обступившую его зловещую атмосферу.

А с другой стороны, этот запах, Боже! Откуда взялся и шибал ему в нос этот глупый и непонятный запах? Чего от него хотел?! Какого долга требовал?! Или это

запах материнского молока?! Молоко матери, да, конечно! Молоко его родной матери! Отчего до сих пор ему не удалось определить этот простой и нежный аромат? Конечно, молоко мамы – запах родной души и тела! В таком случае почему этот родной запах так его беспокоил! Запах, по которому он тосковал долгие годы! Или тут что-то еще?! Что-то, что с самой ночи мучило обоняние и не давало ему покоя.

Может, запах крови?! Запах родной крови… подмешанный к материнскому молоку! Тьфу!

Его взгляд всё еще был устремлен на череп быка, прибитый к дверному косяку, и только сейчас он обратил внимание: влага, капающая с уголка его пасти, стекает из глазниц быка. Бык плакал. Проливал слёзы точно живой человек.

…поднялся переполох, – сказали, упала и потеряла сознание жена Жоры, – в воздухе повисла угнетающая пауза. Люди будто за секунду стали другими, чужими и чуждыми, посерели воздух, камни и стены… «Горемыка бедовая, что с ней опять сталось?», – всполошились три-четыре женщины и побежали на подмогу.

А сам Жора, видимо, давно обвыкшийся с таким положением дел, даже не шелохнулся.

Сулуджан вернулась из дома Жоры вся посеревшая, она никому ничего не сказала, ни на кого не глянула, раскрыла руки точно коршун крылья и спикировала прямиком на него. Сделав пол-оборота, она стала трясти перед его глазами фотокарточкой (это было фото его отца, оказавшееся в чужих руках во время чистки одежды): – Чья это фотография, ну, я тебя спрашиваю, чья фотография?!

Ему казалось, что он остался лицом к лицу с матёрой и голодной волчицей. Всё тело обмякло, отнялся язык. Это мой отец, хотел сказать он, но не мог, он потерял дар речи.

Сулуджан повторяла один и тот же вопрос снова и снова. «Отец твой, верно?! – вцепившись ему в ворот, она поволокла его внутрь, спешно раскрыла принесенный с собой сверток и вынула оттуда другую фотографию: – Ну тогда вот это кто?!»

Он застыл, как вкопанный. Как фото его отца могло очутиться в этом доме?! Как?! Эта карточка была точь-в-точь такая же, какую дал Петрович, только целая, неповрежденная.

– Мой отец… – послышался его сдавленный голос.

– Ты же говорил, что отец твой химик, а?! Ученый?!

– …

– Нет, это не твой отец, это отец Айсулу, по-о-онял?! Отец Айсулу!!!

Он невольно вырвал из ее рук фотокарточку. Его отец был в той же рубашке в белый горошек. Те же густые, черные и курчавые волосы, те же агатовые усы… А молодая женщина рядом с отцом… Когда он увидел ее глаза, то будто переломился надвое; спокойно и уверенно, добро глядящая на него с фотографии женщина была той же безумной, которая наблюдала за ним в окно, точно, – это женщина, наблюдавшая за ним в ночи! Никаких сомнений быть не могло, ему не забыть того тоскливого взгляда, не спутать ни с каким другим! Пара держала на руках ребенка. Слезы застилали ему глаза, не позволяя рассмотреть внимательней лицо ребенка. Он перевернул карточку и еле прочел выцветшую, посеревшую давнишнюю надпись: «Айсулу, шесть месяцев…».

Не обращая внимания на стенания тети Сулуджан, он выбежал прочь как сумасшедший. Ни с кем не попрощался, никому ничего не сказал, только крикнул Булату: «Давай, поехали!»

– Шеф, я же пьян…

– Езжай, говорю! – он так заорал, что сам себя не узнал.

Набитый до отвала грузовик, выйдя на бетонную дорогу, стал медленно набирать скорость. «Мотор только что собрали, нельзя вот так водить без обкатки, надо без напряга…», – ворчал себе под нос Булат. Они только выехали из села, как Булат со всей силы нажал на тормоза. – «Шеф, жена Жоры!»

– Езжай, давай, не тормози, скорей!

Он тоже увидел в зеркале заднего вида бегущую за ними босиком женщину с непокрытой головой, растрепанной одеждой. Она ошалело бежала за ними, и на ее седые растрепанные волосы оседало снежное крошево, которое взметали ее ноги. Найдя невероятную силу в своем истощенном, изможденном теле, она бежала, падала, вставала и снова бежала. Махала рукой, звала, пытаясь что-то объяснить…

– Газуй, гони!

На какое-то мгновение ему показалось, что он увидел вместо женщины, наблюдавшей за ним в окно, ту самую Безумную Старуху, которая угрожала ему палкой и пыталась прогнать из родного селения, переставшую на что-либо больше надеяться Старуху с грязно-седыми прядями волос…

***

Машина крадучись продвигалась на снегу с выключенными фарами, стараясь не издавать ни одного лишнего шума. Булат завел грузовик в лес по проселочной дороге, чтобы обойти погранпост. Эта дорога, ответвляющаяся от главной дороги, по их расчету должна была вывести их в маленькую деревеньку из девяти-десяти домов. В той деревеньке у Булата старый приятель, если удастся доехать туда до рассвета, смогут как-нибудь выкрутиться. Плюс, это уже считается территорией России; пограничные проблемы решатся сами собой. Не то, если они сейчас столкнутся с пограничником или кем-то еще в погонах, пиши пропало; пришли да взяли, так поминай как звали! К ним как нарушителям границы приставят дуло и уведут в лучшем случае на допрос. К тому же, уезжая в дикой спешке из деревни, они умудрились оставить там все документы – права, техпаспорт, – всё осталось в доме Жоры, в карманах одежды. Ничего не смогли с собой забрать. А без документов далеко не уйдешь.

«Доехать бы поскорей до этой чертовой деревни, брошу ему ключи, пускай сам разбирается, – как будто съежившийся в углу кабины человек был не тем самым «шефом», к которому Булат всё это время уважительно обращался, а каким-то бродягой, проходимцем. – Вот твоя машина, вот и ключи, без меня разбирайся. Езжай, куда хочешь. Я пойду своим путем, всё, баста».

Дорога тянулась, как песня табунщика, унылая и бесконечная.

«Кажись, я свернул-то совсем не туда…», – дорога, по которой он поехал в кромешной тьме, углублялась всё дальше в лес, превращаясь в узкий лабиринт; они едут уже не первый час, но не видать ни света вдалеке, ни каких-то строений. «Или это дорога лесников? Тьфу!», – обычно вывозящие дрова грузовики вывозят срубленные и заготовленные деревья по такой вот дороге; сам Бог знает, в какую лесную глушь, какую тьму ведет этот путь. Ехать дальше особо смысла не имело, при таком раскладе лучше возвращаться, не солоно хлебавши. Но разворачиваться на такой узкой дороге – сложнее некуда, дело рискованное; если колесо хоть чуток выскользнет с накатанной колеи, капец, они застрянут по самое горло. Всё так и случилось. Булат подал назад, чтобы развернуться, и тут колеса вошли в сугроб, чем больше Булат

поддавал газу, тем дальше колеса уходили в снег, тяжелый грузовик погрузился в снег по самую раму. «Тьфу, чёрт, чёрт!» – Булат молотил кулаками по рулю и ругал себя на чем свет стоит. Ругал и ругал, потом беспомощно опустил голову на руль и надолго задумался. «Что за беда, Господи, что за несчастье! Зачем Ты завел меня в эту дикую глушь – в чем пред Тобой я виноват?! Сам я со своим жалким умишком во всём виноват! Один раз Ты уже спас меня от верной смерти, а я как тварь неразумная снова сунулся в болото. Кто нас отыщет в этой глуши? Да никто! Повезет – пограничники, да и то, если не замерзнем насмерть к тому времени…»

Очнувшись от тяжких дум, он в кабине, кроме себя, никого не обнаружил. Дверь с пассажирской стороны была полуоткрыта, сиденье пустовало. «Ну, иди-иди, ступай, замерзнешь и прибежишь, как собака, ничего, поглядим. Да куда ты уйдешь в этот снег и мороз!»

Как назло, горючее тоже кончалось, датчик дьявольски мигал желтым глазом. В сложившейся ситуации следовало экономить горючее. Необходимо выключить мотор, включая его время от времени, чтобы не подморозило систему и чтобы в кабине оставалось хоть какое-то тепло. «Будешь мерзнуть – заводи двигатель», – Булат всё ждал его возвращения, чтобы пристроить его и самому сходить за техникой; надо было что-то предпринять, другого выхода не имелось.

Он прождал довольно долго, но всё впустую.

Немое дыхание леса заполонило всё его нутро, его сознание…

Откуда-то издалека, из самой дальней дали он начал слышать редкий собачий лай, а может, просто ему показалось; в этот поздний ночной час собаки лаяли то ли от безделья, то ли по глупости…

«Наверно, поблизости есть ферма или какое-то жилище. А может, это собаки пограничников, точно. Пронюхали нас, взяли след, – разговаривал он сам с собой, а с кем же еще. – Да катись оно к черту, всё равно других вариантов нет», – он напялил на себя всё, что попалось под руку, крепко закутался и распахнул дверь.

Не было ни тропинки, ни следа, закрыв глаза, он шел туда, откуда раздавались звуки.

В сторону собачьего лая…

***

…он увидел, что покрывший Проклятое озеро лед стал тоньше, как стекло, если чуть поддаст, то лед треснет; окончательно избавится от бездонного плена озера. Прислонив лоб, нос, лицо ко льду, он тоскливо смотрел по ту сторону – на небеса, ему хотелось поскорее спастись от этой безвоздушной, мрачной темницы. Его плоть и душу теснило, но, увидев в озере вместе с собой Айсулу, он начал сходить с ума. «Оййй, оййй, оййй! Сестренка моя, моя малышка, оййй! Моя малышка Айсулу, оййй! Что ты здесь делаешь?! Как ты здесь очутилась? Ой-ой-ой-ой!»

Весь ужас заключался в том, что Айсулу пришла к нему в том же платьице, в том же шестимесячном возрасте, как на фотографии, раскрыв объятия, она бежала к нему, просила помощи: «Не оставляй меня здесь, братец, забери с собой. Кроме тебя, у меня никого больше нет!..» «Уходи отсюда, уходи поскорей!» «Давай убежим вместе, дай руку!» Вода ошпаривала их кипятком, всё тело, каждый миллиметр. «Мы оба пали жертвой слепой страсти, оййй, маленькая моя, сестрица, оййй!..» – не переставая проливать слезы, он пытался достать ее из кипятка… вдруг он увидел, что

вместо нее держит в руках облако! Ну и дела, огромное облако уменьшилось в размерах и превратилось в малышку не больше руки! До него дошло, что этот бедолага тоже в плену мертвой воды. Терпеть дальше стало невмоготу, гнев и ярость ударили в голову, ему захотелось разнести вдребезги этот проклятый лед. Он стал наносить удары коленом, локтем… А когда рука коснулась холодной, как лед, дверной ручки… он проснулся от сна в своем сне, понял, что всё это время пытался выломать… дверь грузовика. И что он легко может просто ее открыть. Он так и сделал, взял и открыл дверь. Легко одетый, – кто станет обращать внимание во сне на одежду? – в одном легком свитере он сошел с машины и пошел по направлению к свету, который сиял где-то совсем вдали в глубине леса (это место показалось ему похожим на берег реки Тура). Всей своей душой, всем существом он стремился к этому свету, алкал этого света. Этот свет притягивал его магнитом. По пояс в снегу он шел, прокладывая себе коленями и локтями путь в мягких, как лебяжий пух, сугробах. Шел радостно, вольготно; понимал, что ни один берег не спасет его от этого злого рока.

Кроме берега реки Тура…

– Деда, почему ты дал мне умереть? – постепенно тот манящий свет превращался в очищенных от грехов родных людей, чьи лица лучились благостью, родных людей на берегу реки Тура, и на какое-то мгновение ему показалось, что среди них находится и Старик, что он машет ему издали рукой и настойчиво подзывает подойти ближе и присоединиться…

***

Поток яркого света, просочившийся в рассветных сумерках сквозь окна содоморцев, заставил их проснуться. Охваченные интересом, они напялили на себя, что под руку попало, и спешно стеклись на улицы. От увиденного над двором храма у них кровь в жилах застыла; ужасного облака, годами бросавшего тень на всё их существование, на месте не было. Взамен над храмом висело лучезарное, легчайшее, белоснежное облако, чья белизна слепила глаза! И к этому облаку стекались со всех сторон сотни, если не тысячи маленьких и больших облаков. Белые, словно невинные овечки, они сбегались к своей матери. Детки, слившись с матерью, образовали такое гигантское облако, что оно распростерлось чистейшей, белоснежной, без единого пятнышка простыней на всем небе, над всем Проклятым озером, Содомором и остальными близлежащими селениями. Эти чистота, белоснежность и безгрешность даровали частичку своего света каждому дому, каждому камню, каждому человеку, его облику и душе, пропитав ее покоем и безмятежностью.

Затем облака тяжелой поступью двинулись в сторону реки Тура.

Перейдя реку, они смешались с цветом рассветного неба и обратились в небытие…

Перевод Ниджата Мамедова

ГЮНЕЛЬ ЭМИНЛИ

Для Тбилиси

Говорят, лучшие на свете дожди
Омывают тебя,
Может, по этой причине
Ты всё лил и лил на меня,
Но, стоя лицом к темноте,
Я вспоминаю не дожди твои,
А дырявые туфельки
Промокшей до последней нитки
Маленькой девчушки, продающей цветы...

****

Скучать по тебе, мой друг,
Не значит смотреть на твое фото и плакать,
А вставать с неохотой с постели,
Путая рассвет с закатом,
Скучать по тебе
Не значит искать твой номер в телефоне,
А сжимать ладонь,
Чтобы копейки, протянутые нищему инвалиду,
Не упали наземь,
Скучать по тебе, мой друг,
Не значит навещать твою могилу,
Скучать по тебе – расспрашивать твою любимую
О здоровье, навещать ее время от времени,
Не горевать, не печалиться, мой друг,
А вкусить пищи, приготовленной твоей мамой
В память о тебе,
Смотреть твои любимые фильмы,
Слушать твою любимую музыку,
Прикасаться к корешкам твоих книг,
Еще раз пройтись по улицам, по которым ты бродил,
И в каждом закоулке принимать маячащего вдали
Человека в очках за тебя,
Топить надежды
В волнах, ласкающих огни корабля,
Навеки бросившего якорь у пристани,
Писать для тебя стихи и рвать,
Писать и рвать,
Писать...

***

Этика не значит –
Просить прощения
У незнакомого человека,
Которому ты случайно наступил на ногу в лифте,
Это – прятать волосы под шапочкой,
Грудь – под платьем
При женщине, чьи волосы и грудь
Пали жертвой рака,
Это – не кичиться красотой сына
При матери, чей сын погиб на войне,
Это – не проходить равнодушно
Со свежим хлебом в руках
Мимо голодного соседа,
А взять и угостить его краюхой.
Это – не ласкать малыша
При бездетной женщине,
Не звонить матери при сироте,
А обнять его и стать поддержкой.
Просто надо быть чуть человечней, чуть человечней,
Человечней.

***

Эй, красотка,
Моя несчастная жизнь
Темнее, чем сурьма на твоих глазах,
Не веришь – подойди и проверь,
Твои духи не в силах заглушить
Запах моего одиночества
И смрад грязной одежонки,
Мой запах устойчивей,
Дело ведь не в деньгах,
Я смотрю на твою дорогую сумку
Оценивающим взглядом –
Сгодилась бы, как подушка на картоне,
На котором я сплю,
Асфальт весь пробуравлен твоими шпильками,
А знаешь ли, что, если приглядеться, в этих дырках
Прячутся муравьи?
Когда льет дождь,
Пустеют гнезда, летает воронье,
В городе ворон больше людей,
Мусорят повсюду,
Город так и живет:
Весь в дырах,
В мусоре
И воронье,
Красотка,
Убирайся-ка в свои хоромы,
А я погружусь в чуждые тебе грёзы
прямо тут, в своем отсыревшем картонном дворце...

***

Не боится темноты
И не любит Солнце,
Набит соломой, а в сердце надежда,
К Небу протянуты негнущиеся руки,
Шляпа на нем смешна,
Но никому не молится,
Нет у него мыслей в голове,
Лишь воронье кружится вокруг,
Он проклят богами.
Будто настоящий человек,
Он стоит прямо посреди безлюдья –
Бог Страха, но кроме себя
Никого не в силах напугать.
Выпала ему такая доля –
Стать деревянным человеком,
Чучелом...

***

Где-то совсем вдали...
Там, где небо сливается с землей,
И Атлант, словно грешный ангел,
Держит небеса на плечах,
Идут бесконечные дожди,
Вот присниться бы этим дождям.

Где-то в пустынной,
Прожженной солнцем деревне,
В домишке с пыльными окнами
Старик совершает намаз, не приняв омовения,
Неверно обратившись к Кыбле,
Стать бы верной Кыблой того старика...

Где-то в детском приюте
Мерзкий верзила
Плюет в еду того, кто слабей,
И командует: «схавай это»,
Стать бы смачным матом, которым слабак
Покрывает верзилу...

Где-то совсем вблизи
Бедный отец
Перед яркой витриной
Запускает руку в карман,
Чтобы купить игрушку своему малышу...
Стать бы грошами в его кармане,
Которых не достает на подарок.

Где-то, где-то,
Вдали, вблизи
Льют бесконечно дожди,
Присниться бы этим дождям,
Узнать, для кого они льют,
И превратиться в мираж...

****

Мне должны были прийти письма
С фронта,
Влажные письма,
Впитавшие влагу земли,
Схороненные на груди,
Пахнущие полынью письма.
Я должна была встретить почтальона
И заплакать от радости,
Под моим окном
Должны были звучать песни
На закате,
Песни на гитаре,
И я должна была послать поцелуй
Туда, вниз...
У меня должны были быть косы,
Длинные, русые косы,
Я должна была, смешавшись с ветром,
Бежать на вокзал,
Встречать его,
А еще – надеть
На нашу свадьбу в весенний вечер
Мамино подвенечное платье,
Что лежит в сундуке.

****

Прислонившись к окну,
Смотрюсь в зеркало большого города,
Смотрю на дождливый Стамбул,
За окном проходят люди,
Здоровые люди,
А я одна в палате
С надкушенной булкой и остывшим чаем,
С руками, исколотыми иголками,
Как немилосерден врач!
Мог бы добавить в укол
1 мг надежды...
Нет в сердце надежды, руки бессильны,
Но я всё еще борюсь.
Душа моя где-то вдали,
На дальних берегах
Слушает рокот моря,
Отдающийся в раковине...

****

Из плоти была твоя комната,
Затем из стекла,
Там тебе было тепло,
Теперь чуть холоднее,
Терпи, милый, пройдет.
Это твое первое испытание,
Первый экзамен в жизни, впереди
У тебя столько дней и часов.
Над твоей головой билось сердце,
А теперь мечутся руки,
И глаза,
И еще много того,
Чего ты не понимаешь.
В сторонке
Плачет роженица,
Твоя мать,
Посмотри на нее и улыбнись...
Полуживой малыш в инкубаторе,
У тебя отсюда два пути –
Либо в объятия мамы, либо в объятия земли,
Так выбери мир, что сводит воедино
Маму, жизнь и Бога

****

В жизни есть прекрасные вещи,
Мой друг, –
Солнечные очки,
Запах дождя,
Варежки...

В жизни есть вкусные вещи,
Мой друг, –
Чашка латте,
Лепешка с бананом,
Мамины блюда...

В жизни есть интересные вещи,
Мой друг, –
Читать,
Писать,
Играть...

Но в жизни есть лишь одно
Прекрасное движение, мой друг,
Помочь любимой
Раздеться...

***

Тот предмет в коридоре,
Предмет, на котором куча одежды,
Тот черный предмет пугает меня...
Все разлуки – словно маленькая смерть,
Тот небольшой черный предмет – отчасти чье-то убийство,
Отчасти чей-то труп,
Не могу ни подойти,
Ни глаз отвести,
Как смерть, он страшен,
Извини, не могу тебе помочь.
Эх, этот черный предмет, этот черный страх –
Кто знает, сколько женских страхов накопилось
В этом черном предмете:
Кошмарных снов,
Страха быть покинутой, остаться одной,
Пить чай по утрам в одиночестве,
По ночам спать в пустой и холодной постели...
Погоди, спрячь под кроватью этот черный чемодан...
Отложи свою поездку...

***

Полкомнаты,
За полночь,
Без пяти три.
Кольнуло слева в груди,
Я вспомнила тебя.
Уставилась неотрывно
Сквозь окно
В городскую ночь,
В парк с пустыми скамейками,
На ком, подметенный к дереву
Утром метельщицами,
Села птица.
Я загадала:
Если птица подлетит ко мне –
Ты вернешься, если улетит прочь –
Нет.
Будь проклята эта птица,
Застыла, как вкопанная,
Вцепилась лапками в ветку
И так и замерла неподвижно,
Свела на нет мое гаданье,
Не дав исполниться мечте.

Перевод Ниджата МАМЕДОВА

ЭЛЬМИРА АХУНДОВА

НАЙТИ СЕБЯ

О рассказах молодого азербайджанского прозаика Керамета Беюкчёля

Часто встречаю в газетах «Каспий», «Мир литературы», в журнале «Литературный Азербайджан» рассказы молодых русскоязычных литераторов, с интересом их читаю. Тот же интерес возникает у меня при чтении прозы молодых на азербайджанском языке. Образцы подобной «малой» прозы часто публикует «525-я газета». Это – нужное и благородное дело. Жаль, что русскоязычные писатели Азербайджана и литераторы, пишущие на родном языке, сегодня более чем когда-либо находятся в неведении о том, что происходит по ту сторону литературного развала: первые слабо знают родной язык, а молодые азербайджаноязычные практически утратили знание русского языка – те и другие в лучшем случае обращаются к переводной литературе, а по большей части предпочитают вариться в собственном соку.

Это действительно обидно, ибо в прозе сегодняшних молодых, на каком бы языке они ни писали, много точек соприкосновения, можно провести много интересных параллелей и сделать весьма любопытные выводы, характеризующие современный литературный процесс в нашей стране.

Думаю, что это благодатная тема для наших многочисленных литературоведов. Я же лишь обозначила проблему.

…Побудило же меня взяться за перо творчество молодого, но уже довольно известного в литературных кругах прозаика Керамет Беюкчёль, человека весьма импульсивного и эмоционального, с обнаженными, как у многих молодых, нервами и стремлением сделать себе имя, пусть даже ценой успеха станут эпатаж, провокация, неуважительное отношение к классикам и корифеям литературы. Словом, нон-конформизм и бунтарство…

…Керамет попросил как-то дать ему интервью на свободную тему, мы проговорили с ним несколько часов – о прошлом и настоящем, о литературе и политике, и мне этот молодой человек чем-то приглянулся, может быть, своей искренностью, может, любовью к слову, может, искренним стремлением вникнуть, понять другого… Настоящий литератор должен несомненно обладать даром понимания.

А потом, так как я являюсь подписчиком «525-й газеты», мне довелось прочитать в летних номерах этого издания с добрую дюжину рассказов Керамета Беюкчеля, которые при всей их неровности и неравноценности также чем-то цепляют. Темы рассказов, как правило, очень личные, порой даже экзистенциальные – обращение к памяти и душе безвременно ушедшего в мир иной друга, ироничные поиски самого себя («Не могу найти самого себя. Сколько уж дней как ищу. Если найду, убью, честное слово…»), размышления автора над тем, что и как спасло его от мыслей о самоубийстве. Кстати, это последнее эссе весьма ценно по своему беспощадно откровенному и в конечном итоге позитивному настрою, я бы советовала его прочитать всем молодым, которых в тот или иной период обуревают те же мысли, что и Керамета. Недаром из СМИ мы почти каждый день узнаем о самоубийстве молодого человека или девушки. И причины-то для самоубийства порой просто ничтожны и почти всегда преодолимы. Очень жаль, что в этот момент рядом с ними не оказался такой человек, как Керамет.

В эссе Беюкчёля «Кто и что спасло меня от самоубийства» есть очень волнительный пассаж:

«После того как никто не сумел меня спасти, я решил обратиться к самому себе и у самого себя попросить помощи. Правда, попасть на прием к себе оказалось делом не из легких. Долго я прождал перед закрытой дверью, а когда наконец вошел, спросил у себя, в чем твоя беда? Я такое порассказал, такое… что в конце концов самому захотелось над самой посмеяться. Стало понятно, что у меня нет никакого горя. В том смысле, что на свете вообще нет горя, которое могло бы стать причиной самоубийства. И после того как я сам себе это объяснил, я поднялся на ноги, обнял себя и поцеловал. И за эту мудрость поблагодарил сам себя…» И в конце этого эссе жизнеутверждающий призыв: «Еще раз говорю вам, на самом деле, независимо от того, в каких условиях мы живем, при каких условиях едим свой кусок хлеба, нужно искать пути к счастью. И свет для меня – это беспрестанное стремление быть счастливым…»[1]

Все рассказы Керамета, по сути, посвящены поискам самого себя в этом сложном, непонятном мире. Даже в рассказе о близких – о страдающем сердечной недостаточностью отце, о маленьком сынишке, которого он назвал Барыш («Примирение»), о забавной встрече с рыжеволосой девушкой на приемных экзаменах в вуз, Керамет описывает прежде всего свое состояние души, свои эмоции и чувства. Например, как он, еще будучи маленьким, узнал, что медицина научилась пересаживать сердца. После этого он день и ночь думал о том, что может отдать свое сердце отцу. «Домашним я об этом не говорил, стеснялся, но про себя твердо знал, что в груди ношу запасное сердце – для отца. Я порой даже представлял свое сердце в груди отца, и сразу же начинал задыхаться, у меня появлялась одышка. Как будто у моего маленького сердца не хватало сил перегонять кровь в большом отцовском теле…»

… Герои рассказов Керамета Беюкчёля – знакомые, близкие, родные, любимые ему люди. Обыденные, самые будничные жизненные ситуации. Но все эти ситуации – лишь средство для погружения в глубины собственной души. Хотя иногда молодой литератор достигает в своей прозе почти чеховской глубины и точности, так, что от рассказа перехватывает дыхание. Меня, например, очень тронул рассказ «Флеш». Если коротко, то рассказ – о его дяде, сельском интеллигенте, учителе русского языка и литературы, который давно уже пишет рассказы «в стол», даже не пытаясь их опубликовать. И это делает ему честь. Автор замечает, что читал некоторые из этих рассказов, их особой литературной удачей не назовешь, но не будешь же говорить об этом дяде, ведь рассказы – это, по сути, вся его жизнь, может быть, даже главнее, чем та, что открыта для всех. В какой-то период дядя увлекся современными техническими достижениями, подружился с компьютером и стал переводить в электронный формат все написанное им за долгие годы. А потом сохранять рассказы на маленькой флешке, которую он искренне считал самым чудесным из изобретений человечества. В один прекрасный день дядя сжег все свои старые рукописи, посчитав, что в них уже нет надобности, ибо он все перевел на флешку… А флешка возьми да потеряйся, ведь он столько раз ее перепрятывал, что в конце концов сам запамятовал, куда он ее положил.

Концовка новеллы звучит, как я уже говорила, почти по-чеховски: «Недавно я говорил по телефону с дядей. По голосу почувствовал, что он сильно сдал. И еще почувствовал, что он боится продолжать поиски своей флешки, а вдруг он ее и впрямь никогда не найдет…»

Очень понравился рассказ «Деревья, в тени которых мы целовались». Он о любви. О любви мужчины к женщине, которая, по мысли автора, является той единственной силой, что побуждает человека пройти до конца по нелегкой, порой полной мук и испытаний дороге жизни.

[1] Здесь и далее переводы автора статьи – Э.Ахундовой

«Говорят, что настоящая любовь – это любовь к Аллаху. Или что настоящая любовь – это любовь к жизни, к природе, еще к чему-то… Пустое все это… Настоящая любовь – это любовь к женщине. Потому что ни одна другая любовь не заставляет душу человека болеть. Но ведь боль – это прекрасно! Знайте цену этих болей!.. Если ты любишь, то у тебя ноют руки, плечи, грудь. И эта сладкая боль превращается в частичку тебя самого. И каждую ночь ты лелеешь свою боль, укрываешься ею…»

Рассказ Керамета – это гимн земной любви, которая составляет основу бытия. В устах Беюкчёля этот гимн звучит несколько парадоксально (кому нужна душа без боли?! – вопрошает писатель), но ты проникаешься его философией и начинаешь ей сочувствовать.

Керамет вместе со своим литературным «эго» пытается найти выход из экзистенциального тупика, из глубоко стрессовой эмоциональной и психологической ситуации, в которой он находится и в которую зачастую загоняет себя сам, не в силах разобраться с клубком внешних обстоятельств и душевной сумятицы. И он вновь обращается к спасительному якорю – любимой девушке, которую просит, умоляет верить ему вопреки всему, даже несмотря на его вранье, вечные отлучки, даже несмотря на возможное предательство. Любить и верить ему. И тогда они будут счастливы (Рассказ «İçib küçədə qalsam»)…

Кстати, в последних рассказах Керамета поубавилось эгоцентризма, стало меньше самобичевания, зато появилось больше воздуха, пространства, появились новые темы и новые герои. В этом плане симптоматичен рассказ «Вратарь» – о школьном друге Назиме, который всегда защищал честь школы, стоя в воротах и не пропустив в матчах ни одного мяча. Потом Керамет поступил в университет, а Назим пошел служить в армию. И оттуда уже не вернулся. Погиб. Керамет пишет о его смерти и вообще о войне просто, без патетики. Но так, что хочется волком выть вслед за автором, который всю ночь прорыдал, услышав весть о гибели своего школьного товарища.

«Наутро после его гибели прочитал в газетах, что Назим пал смертью шехида, как настоящий герой. Увидев, что враг целится в его товарища, Назим одним броском оказался рядом и подставил грудь под пули. И пуля прямиком пробила ему сердце. Ведь Назим был настоящим вратарем, поэтому последний мяч остановил своей грудью, не позволив, чтобы пуля через его ворота попала в родину…»

Кстати, лирический герой Керамета умеет не только грустить и горевать, не только заниматься самобичеванием, он умеет и подшутить над собой, подметить в себе недостатки, увидеть смешное в самой обыденной ситуации, например, во время посещения Милли Меджлиса, или в процессе семейного конфликта отца с матерью. И этот юмор тоже очень чеховский, светлый и добрый…

Конечно, Керамету Беюкчёлю еще предстоит долгий и, хочется надеяться, успешный пусть в литературе. Ему предстоит избавиться от собственных фобий и страхов, выплеснув их до конца на бумагу, выйти из узкого мирка собственных переживаний и взглянуть на мир, который его окружает. Ему предстоит найти самого себя.

… Один из основоположников французского экзистенционализма Альбер Камю както сказал: «Рано или поздно наступает время, когда нужно выбирать между созерцанием и действием. Это и называется: стать человеком».

Думаю, что и Беюкчёлю уже пора переходить от созерцания к действию. В противном случае он рискует навсегда остаться «посторонним», подобно герою одноименной повести Альбера Камю. Лирический герой Беюкчёля также ведет частную, одинокую жизнь, и его особенность в том, что он не играет по навязанным ему правилам, что он отказывается лгать себе и другим. И этот нон-конформизм превращает его в чужака, «постороннего» для общества.

И все же жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Эту истину классика марксизма-ленинизма еще никто не опроверг. Хотя многие пытались…

Кто знает, может, таким, как Керамет, это наконец удастся сделать?..

КЕРАМЕТ БЕЮКЧЕЛЬ

РАССКАЗЫ

Перевод Ниджата Мамедова

Вратарь

Мой одноклассник Назим был очень ловким и смелым парнем, никогда от своего не отступался. Никто в классе пересилить его не мог. Мы частенько собирали команду и играли с другими школами в футбол. Назим и тут обладал преимуществом, в ворота, которые он защищал ни разу не забили гол. Почти все матчи мы выигрывали за счет мощного вратарского таланта Назима. Благодаря этому таланту Назим был очень популярен, и благодаря ему мы стали чемпионами межшкольных соревнований.

Окончив среднюю школу, мы сдали экзамен в ВУЗы, большинство наших одноклассников поступило, но Назим учиться не стал. Я ни разу не видел книжки в его руках или ранца на плече. Ну, а раз и я не видел, то другие уж точно. Ведь мы с Назимом были очень близкими друзьями. Я всё его упрекал, советовал поступать, но без толку…

В конце концов, я пошел в университет, а Назим в армию.

Назим служил в Бейлагане, в первые месяцы его службы мы говорили по телефону, потом я разок к нему наведался. Тот же самый парень, ничуть не изменился. Он так крепко меня обнял, что плечи болят до сих пор.

После приветствия он тут же спросил о Лейле:

– Вышла замуж?

– Да, за состоятельного парня.

Назим любил Лейлу без малого 10 лет, но она его не любила. Так и не ответила взаимностью до самого конца. Назим без устали писал ей письма, но ответа так и не последовало. Правда, мой друг не обладал талантом писать проникновенные фразы, большинство писем составлял я. В одном письме я нарисовал сердце, потом стрелу, пронзающую сердце. Нарисовал красной ручкой капли крови. Капнул на бумагу несколькими каплями корвалола. Всё это были мои придумки…

Оказывается, Лейла даже не читала письма, может, они и тронули бы ее, прочти она хоть несколько строк. Даже не знаю почему она их не читала. Знаю лишь то, что пару раз она призналась подругам, что не сможет полюбить Назима даже под страхом смерти. А на их вопрос «почему?» Лейла ответила: «Потому что он не мой тип».

В конце концов Назим всё понял и стал потихоньку забывать Лейлу. Но точно не знаю, может и не забыл, продолжал ее любить. Уверен лишь в том, что безответную любовь забыть непросто.

Мороз в войсковой части Бейлагана сковал даже мимику Назима, не то всё можно было бы прочесть по его лицу…

– Как идет служба?

– Иногда режим прекращения огня нарушается, вот мы им и отвечаем, а еще бережем друг друга изо всех сил.

Грудь Назима была необъятной, напоминала окоп, он так меня обнял на прощание, что мне почудилось будто я в колодец провалился.

– Ну, береги себя, всего то полгода осталось… – сказал я Назиму.

Я расцеловал друга, пожал ему руку, стукнул пару раз кулаком в плечо – типа «будь здоров». Мои удары для него всё равно что мушиное жужжанье.

– Баку осиротел без тебя, – не удержался я от шутки.

Спустя пять шесть дней после того, как я вернулся из Бейлагана, меня настигла черная весть: Назима убило пулей. Я выл до самого утра как собака. Мать Назима тетя Салима, увидев гроб сына, вскинула руки и принялась танцевать.

Правда, танец матери стали толковать иначе: типа, тетя Салима станцевала потому, что ее сын умер холостяком, не успев завести семью и детей. Но я с этой мыслью согласен не был. Тетя Салима сама не ведала что делает и, поверьте, это еще ужасней.

Спустя время тетя Салима подтвердила мое мнение:

– Да, сынок, я сама не знала, что делаю, как только увидела гроб, захотелось танцевать…

Наутро после смерти Назима я прочел в газетах, что он пал геройской смертью. Увидев, что его близкий друг – сослуживец взят на прицел, Назим вскочил и прикрыл собой друга. Пуля попала ему прямо в сердце. Назим был настоящим вратарем, и потому удержал грудью последний мяч, не дал пуле пройти в ворота родины, которые он защищал…

Кто меня отыщет?

Интересно, кто я из тех, кого я потерял? Не могу себя отыскать. Вот уже который день брожу в поисках. Как найду себя, так и прикончу. Господи, откуда я сюда свалился, откуда упал? Силюсь, силюсь, но припомнить себя не могу. Интересно, нашел ли меня кто-нибудь? Вернут ли обратно? А что со мной будет, если возвращать не собираются? Боже, у кого же узнать куда я запропастился?

Может, знает отец:

– Где я?

– Ты дома, сынок.

– Но меня же нет. Я только что заглянул в свою комнату.

– Врешь, – не поверил он. – Я видел, как ты лежал на кровати. Ворочался в постели. Окликнул тебя пару раз, но ты не откликнулся.

– Почему?

– Не знаю. Глаза у тебя были открыты, а лицо обросло щетиной.

– У меня что, за ночь отросли волосы и щетина? Не веришь, пойдем вместе глянем в мою комнату. Ей-богу, меня там нет, отец! Под одеялом пусто.

Отец крепко рассердился, схватил меня за руку и потащил в комнату:

– Слепой, что ли? Не видишь, что лежишь под одеялом?

– Где же?

Отец откинул одеяло:

– Ты же только что лежал тут, минуту назад я видел тебя в постели.

– Видишь, отец, я же говорю – нет меня.

Может, мать знает, куда я делся.

– Мама, скажи-ка, где твой сын?

– Ты только что зашел в ванную умыться.

Я долго простоял перед дверью ванной. Но оттуда никто не вышел. Я слегка приотворил дверь и увидал, что там никого и в помине нет.

– Ты ведь только что туда зашел, – сказала мать.

Я спросил себя у сестры:

– Не знаешь где твой брат?

– Ты только что вышел из ванной и зашел в свою комнату. Наверно, переодеваешься, собираешься куда-то.

Я заглянул в комнату, меня там не было. Заглянул под кровать, затем в шкаф, поискал среди книг, не было меня нигде. Никто не мог меня отыскать. Ни отец, ни мать, ни сестра, ни брат… Ну, в таком случае отправлюсь к себе на работу. До телефона моего звонки не доходят. Спрашивается, и где же этот человек? Как сквозь землю провалился.

– Да, наверно, на работе, – сказала мать.

На работе? Ладно, ничего страшного. Наверно, и вправду там. Я должен отыскать себя во что бы то ни стало. Хочу сказать себе пару слов. Точнее, хочу сесть лицом к лицу и обстоятельно поговорить. Посмотрим, чего же я, в конце концов, хочу. Если не послушаюсь себя – плюну в лицо. Подлец этакий!

Работа моя далеко от дома, но я добрался туда в мгновение ока.

– Где я? – спросил я охранника в дверях.

– Ты только что зашел внутрь и поднялся наверх, поднимайся – увидишь.

Я спешно поднялся наверх, тихонько приотворил дверь и посмотрел на свой стул, не было меня там. Я провел руками по стулу. Может, всё-таки я здесь, но не вижу.

Я спросил себя у завотдела. Он ответил, что пару минут назад я был здесь, но вышел и скоро приду. Я принялся себя ждать, но так и не пришел.

Я подозвал охранника:

– Ты ведь говоришь, что я тут…

– Ей-богу, ты только что зашел внутрь. Наверно, вышел куда-то. Придешь скоро.

Я прождал несколько часов. Но так и не пришел. Где бы я себя не искал, так и не нашел. Не знал, что же делать, что предпринять. В конце концов, взял свою фотографию и пошел в полицию. Написал заявление о том, что пропал без вести. Перечислил свои приметы: рост метр семьдесят восемь, вес семьдесят килограммов, цвет глаз – карий, волосы длинные, щетина. Написал, что прошу меня найти, найти во что бы то ни стало, я срочно мне нужен.

Вышел из участка и сел на небольшой камень, погрузился в думы. Интересно, кто я из тех, кого я потерял? Не могу себя отыскать. Вот уже который день брожу в поисках. Как найду себя, так и прикончу. Господи, откуда я сюда свалился, откуда упал? Силюсь, силюсь, но припомнить себя не могу. Интересно, нашел ли меня кто-нибудь? Вернут ли обратно? А что со мной будет, если возвращать не собираются? Боже, у кого же узнать, куда я запропастился?

Кто может меня отыскать, пусть поднимет руку.

Суд

Мать с отцом сильно разругались, каждое слово поперек горла вставало. А причиной была ревность мамы. В конце концов пришлось вмешаться мне. Я сказал им: «Мне надоели ваши скандалы, соседи вас слышат, опозорили вы нас. Не можете ужиться – разводитесь, избавьтесь друг от друга, и избавьте нас от своих перепалок». Ни отец, ни мать не стали возражать против моего предложения, видать, гордость взяла верх. Оба, услышав мои слова, тут же согласились.

– Как только уйду от тебя – принесу в жертву барашка, надоело, – сказал отец маме.

– О Боже, дай дожить до того дня! Принесу в жертву барашка, – повторила мама те же слова.

«Никакого суда не надо, – сказал я. – Решите вопрос между собой. Сор из избы не выносите, стыдно ведь. Пусть даже односельчане не знают. Кому какое дело, вместе вы живете или нет? Разве я не прав?».

После того, как они с легкостью разделили имущество – квартиру, машину и остальное – дошла очередь детей. Кто с кем будет оставаться? Нас трое детей: сестра, брат и я. Я старший. Точнее, старший дома – отец, а я старший над детьми. Потому роль судьи досталась мне.

– Пускай брат с сестрой остаются у отца, я останусь у мамы.

Я подумал, что это наилучший дележ. К тому же, маму я люблю больше.

– Нет, ты оставайся у меня, а брат с сестрой пусть перейдут на ту сторону, – не согласился отец.

– Почему?

– Потому что ты меня понимаешь.

– Нет! – тут же возразила мама. – Ты оставайся у меня. А другие дети пусть идут с отцом.

– Почему?

– Ты меня понимаешь, ты чуткий, вот почему, – высказала мама ту же мысль.

Разгорелся спор. Я предложил три раза в неделю оставаться с отцом, три – с матерью. Но они опять не согласились.

– У кого ты будешь оставаться по воскресеньям? – спросила мама.

– Первую половину дня с отцом, вторую – с тобой.

– Нет, днем оставайся с матерью, а ночью со мной! – запротестовал отец.

– Почему?

– Потому что я бываю дома только по ночам, днем я на работе…

– Когда тебя нет дома, я глаз сомкнуть не могу, – сказала мама. – Потому ночью оставайся со мной.

– А мне как быть по ночам, мучиться от бессонницы? – повторил отец те же слова.

После долгого судебного разбирательства отец с матерью всё поделили, только вот меня поделить не смогли. То одна, то другая сторона приводила всевозможные аргументы… В конце концов, они вынуждены были помириться.

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

Воспоминание

Александру Гричу

Ты помнишь старый «Интурист»
И наше скромное застолье?
Ты с Инной, Интигам, Портнов –
Он же виновник торжества,
Наш многоопытный коллега,
Отбарабанивший полвека
В горниле творческих трудов,
Поэт и мастер перевода,
И заслуживший пиетет
У просвещённого народа,
Переводя Бодлера и Мушфига,
Других, от мала до велика.
Звучали тосты и остроты,
Я имитировал, как мог,
Предполагаемые оды
И слог тебе известных строк...
И тут шампанского поток
Соседский стол повергнул в шок.
Ты успокоил воркотню:
Мол, не тревожьтесь за меню,
Шампанское ведь, господа,
Отнюдь не худшая беда.
Ты помнишь, после ресторана,
Под настроенье юбилея
Приспичила нам всем идея
Продлить минуты расставанья...
С тех пор прошла, считай, эпоха,
Довлеет над Землей тревога,
Я вспоминаю тишину
Благословленного бульвара.
Тогда нам было невдогад,
Что есть на свете город Цфат,
Где обоснуется устад,
И где найдет приют последний
Бодлера и Рембо наследник...
Тогда мы были молодые,
И горизонт был ясен, чист.
Ты помнишь старый «Интурист»?

АЛИ БАГИРОВ

ЮБИЛЕЙ – НОВЫЙ ГОРИЗОНТ ЖИЗНИ.

Юбилей – не просто количество календарных лет, а годы, наполненные жизнью. И чем больше в них событий, тем выше удельный вес праздников. И если идти не только по горизонтали, а взбираться еще и по вертикали – к вершине жизни, откуда, как с Эвереста, открывается даль и ширь горизонта, то юбилей – как очередной привал на пути восхождения к пику, где видится многое вокруг и яснее даль.

Жизнь – школа, где все «зачеты» и «экзамены» нужно сдавать строгому учителю своевременно. И как отличный ученик, Рафик Ашрафович справился со всем этим и достиг нового горизонта с солидным багажом жизненного опыта и проверенными временем друзьями. За пройденные годы он многое видел: лихолетье 20-го столетия и ненастный рассвет нового. И нужно было обладать колоссальным запасом прочности, чтобы пережить «трудности роста», одолеть путь.

Терпимость к человеческим слабостям, умение обходить острые углы, способность прощать обиды, радоваться чужому успеху, предвидеть ход развития событий, стремление к совершенствованию и многие другие качества помогли ему преодолеть все зигзаги пути и шаг за шагом подняться вверх по профессиональной лестнице, он проделал путь от выпускника Азербайджанского Медицинского Института до профессора, заведующего кафедрами оперативной хирургии, анатомии человека, декана, проректора по научной части.

Его заслуги получили признание со стороны государства – в прошлом году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки. Однако, каковы бы ни были научные заслуги профессора медицинского университета, они несравнимы с той практической пользой, которую он принес и продолжает приносить стране. Главная задача учителя – научить студентов, подготовить квалифицированных специалистов.

Вот уже более 50 лет Рафик Ашрафович помогает студентам – будущим врачам – освоить одну из основ медицины – анатомию человека. Невозможно подсчитать, скольким тысячам врачей он передал знания, пред сколькими открыл двери в науку.

Если на заре своей деятельности молодой учитель восхищал студентов знаниями и энергией, то теперь, когда нажива любой ценой стала движущей силой общества, профессор удивляет их своим бескорыстием. Он учит студентов не только строению тела человека, но и пониманию того, кто есть врач, и что ни любовь, ни честь, ни доброе имя – эти общечеловеческие ценности – не купить ни за какие деньги. Их можно заслужить только трудом и честной, порядочной жизнью, постоянно совершенствуя свое профессиональное мастерство, оберегая и развивая благородные традиции медицины. Только помогая другим, можно самому стать лучше. Иного не дано. А для этого, прежде всего, нужно беречь честь смолоду, и учиться, учиться.

Безусловно, не вина учителя, если зерна доброты, которые он сеет, не всегда попадают на благодатную почву. Ветры враждебные, эрозия почвы, загрязненная среда, к сожалению, оказываются сильнее усилий сеятеля. Но профессор Аскеров продолжает выполнять свой долг, не теряя надежды на плодотворные всходы.

Профессор Аскеров не только преподает анатомию, но и проводит научные исследования, он любит и знает мировую, русскую и национальную классическую литературу, и искусство, что, безусловно, сказывается во всем, что он делает.

Не каждому повезло учиться у такого профессора как Аскеров. И врачи, и студенты, с которыми приходится беседовать, отзываются о нем с любовью и признательностью, как о прекрасном педагоге и человеке. Это и есть главная награда, которую никто не сможет отнять. Она не померкнет никогда.

Рафику Ашрафовичу посчастливилось видеть и знать многих хороших людей, замечательных, выдающихся ученых, с иными дружить. Сегодня одних уж нет, а другие далече. Но он сам теперь стал хранителем и классиком, продолжателем традиций – патриархом анатомии. И, несмотря на заслуги, до сих пор, как и прежде, наряду с лекциями, профессор ведет и практические занятия со студентами.

Любовь и уважение к молодости придают профессору силы и бесконечное терпение. Тем более что на кафедре существуют все условия для учебного процесса. Здесь прекрасный анатомический музей, в создании которого принимал сначала лаборант, аспирант, ассистент, а позже профессор Аскеров. Ныне три поколения ученых кафедры обучают четвертое поколение студентов. И это прекрасно! Симбиоз опыта, мудрости и молодости – образец будущих коллективов.

«Мир стареет в былых надеждах
Но сегодня, как и вчера, на плечах
Эту землю держат и несут мастера:
Время движется мастерами и надеется на мастеров».

Профессор Аскеров – один из этих мастеров. И пожелаем ему еще долгие годы оставаться таковым и учить следующие поколения студентов.

В нашей редакции Рафик Ашрафович появился, когда ему было глубоко за 70 лет, принес свои эссе, среди которых особый интерес вызвал у нас шутливый перечень (примерно из пятнадцати пунктов) признаков старости.

И вот стоял перед нами человек в семьдесят с лишним лет, легко, без одышки одолевший наши этажи, веселый, благодушный, готовый по любому поводу вспомнить что-то забавное, с материалом о характерных признаках начинающейся старости, сам же ни под один этот пункт не подходил. Мы буквально в очередном номере напечатали пару его эссе.

В одно из следующих посещений редакции Рафик Ашрафович принес показать нам альбом с фотографиями, который он сам лично подготовил к юбилею супружеской жизни. В этом альбоме особое внимание привлекла одинокая скамейка в парке под деревом с надписью: «На этой скамье энное количество лет назад я впервые приобнял тебя!!!»

Мы спросили, мол, действительно, Рафик-муаллим, вы запомнили эту «великую» скамейку. – Нет, конечно, – улыбнулся Рафик Ашрафович, – жене было приятно…

Мы знаем, сейчас эта скамья «наполовину» опустела…

Но поздравляя юбиляра, не будем о грустном, просто пожелаем Рафику муаллиму здоровья и молодости, благо ему известно, как ее не терять.

редакция поздравляет нашего автора и дает ему слово.

РАФИК АСКЕРОВ

СОЗИДАТЕЛЬ

(К 70-летию академика Джамиля Алиева)

Не место красит человека, а человек место.
Русская пословица

Накануне 70-летнего юбилея академика Джамиля Алиева, зная, что готовится сборник, посвященный этому событию, я не мог оставаться безучастным, просто был должен, обязан высказать свои слова восхищения, выразить свое уважение к этому человеку-труженику. Это дает мне право как одному из людей, знающих Джамиля Азизовича не одно десятилетие, рост и становление которого проходило на моих глазах.

С Джамилем Алиевым мы встречаемся не часто, но тем не менее, отношения между нами всегда были теплыми, уважительными. Пожалуй, это был тот редкий случай, когда мы с супругой были единодушны и она с таким же почтением относилась к Джамилю Азизовичу.

– Надо писать, надо поздравлять, – горячо поддержала мою инициативу супруга, Эсмира-ханым.

Есть люди, к которым питаешь глубокое уважение, будучи даже с ними не знаком. Этому способствует народная молва. Молва всегда идет впереди человека, формирует его ауру. Аура Джамиля Азизовича светла во все времена.

Удивительно, на протяжении многих лет нашего знакомства и службы в едином «медицинском сообществе» я не знаю случая, чтобы кто-то из пациентов или коллег отозвался о Джамиле Азизовиче нелестно. Быть все время на административной должности, совмещать ее с лечебной практикой на протяжении многих лет, и не иметь ни одного негативного отзыва. Ох, как это не просто!

Прожить 70 лет и не получить ни одного «неуда» от населения под силу немногим. Он всегда на виду, академик, руководитель НОЦа, главный онколог страны. Необыкновенно энергичный, все время в работе. Складывается впечатление, что этот неутомимый человек вовсе не отдыхает. Все время в движении. Движение – его стихия.

Созидатель – вот ключевое слово, характеризующее Джамиля Алиева. Пока есть силы, он будет жить и созидать во имя выбранной цели – квалифицированной онкологической помощи населению республики. Он не говорит – он работает. По натуре он – новатор. Он все время внедряет в онкологическую практику современные методы лечения, новое современное оборудование, способствуя расширению и углублению качественного лечения больных.

Баку – «и большой, и малый» город. В Баку все знают, кто чем занимается. Мы как бы со стороны могли наблюдать и радоваться карьерному росту Джамиля Азизовича. Даже злопыхатели от онкологии, скрежеща зубами, не смогли накропать ни одной отрицательной характеристики на Джамиль-муаллима. Причина одна – он всё

делает по совести. «Allah adamıdır». Видимо, с детства, с молоком матери, он впитал всю суть понятий «халал» и «харам». Профессиональная деятельность, отношения к руководимому им коллективу проходят через призму этих понятий. Честь и хвала ему!

Вспоминается его заключительный тост на юбилее нашего коллеги, где Джамиль Алиев был тамадой. Он больше говорил о перспективах развития онкологии в республике, говорил о преемственности, обращаясь к молодежи, о роли преподавателей старшего поколения, их роли в формировании и подготовке профессиональных кадров, говорил с надеждой, по-доброму.

Это было выступление большого, мудрого человека, обладающего значительными професиональными знаниями и жизненным опытом. Он говорил с болью, и в то же время его слова вселяли большой энтузиазм.

Однажды мне привелось быть свидетелем того, как он сделал замечание нерадивому врачу. Он не кричал, он не читал менторским тоном нотации, и этого было достаточно. Он всегда дает сотрудникам шанс исправиться и не повторять ошибки вновь. Учитель! Так поступают люди с большим опытом и большим сердцем.

Много лет назад я мог наблюдать отношение Джамиля Азизовича к научному руководителю, академику Трапезникову. Они всегда были уважительными. Он никогда не преклонялся, не сгибался, не пресмыкался. Уважение было в основе отношения к старшим, педагогам, профессорам. Это было видно окружающим, это видели сотрудники, это понимали все.

Известно, что хорошее не помнят или помнят плохо. Здесь мы далеки от мысли проводить инвентаризацию всего доброго и хорошего, сделанного Джамилем Азизовичем. В этом нет необходимости. Но об одном эпизоде было бы уместно вспомнить.

Это было много лет назад. Дочь одного из сотрудников института, окончив мединститут, не могла устроиться на работу. Тогда многие, ходившие «в друзьях», после его смерти стали глухими к судьбе его дочери. Мы вынуждены были обратиться к Джамилю Азизовичу. Он, исключительно отзывчивый человек, пришел на помощь. Буквально через несколько дней звонок по телефону: «Пусть она выходит на работу». Такое не забывается.

Зная Джамиля Азизовича уже много лет, и наблюдая за его научно-творческим ростом и производственной деятельностью, можно сказать, что этот человек, являясь по натуре созидателем, сделал многое для развития онкологической службы в Республике. Начав практически на голом месте, он создает образцовый онкологический центр.

Уже не помню, сколько лет он возглавляет его. Он органически связан со своим детищем. Когда говорят о центре, невольно всплывает образ Джамиля Азизовича, и наоборот, говоря о Джамиле Азизовиче, приходит на ум НОЦ. Они неразрывно связаны между собой.

Написав статью, подумал: что главное в Джамиле Азизовиче – врач-онколог или его человеческие качества? Обладая этими двумя качествами, нам всё же кажется, что Человек в нем перевешивает, свидетельством чего являются отзывы людей, которые имели возможность с ним общаться. Коллектив, сплотившийся с ним в одно прочное высокопрофессиональное сообщество, замечательные люди, врачи, которые работают с ним и от него никуда. Все единодушны в мнении, что это Человек действительно с большой буквы, с большим сердцем, и большим жизненным опытом.

Его жизнь складывалась вполне ординарно – школа, институт, работа над диссертацией. Но было главное – целеустремленность. С детства рос не «белоручкой», а знал цену труду, поэтому в последующие годы он добивался всего своим трудом, с большим напряжением. Это сформировало в нем сильный характер – главное – он сам! Это сделало его личностью, что показала последующая его работа и подтверждает его окружение.

Неуемный, вечно думающий, как сделать еще шаг вперед в развитии азербайджанской онкологии, чтобы вывести ее на мировой уровень. Не всегда у него всё получается, но мы уверены, что получится. Кто ищет, тот всегда найдет, и добьется.

Я поинтересовался, что означает имя «Джамиль». Мне объяснили: человек красивый и мужественный, приносящий радость и счастье. Видимо, родители, давая имя младенцу, в какой-то мере определяют его предназначение в жизни. Сейчас можно сказать, что он оправдал свое имя, принося людям радость и счастье.

P.S. Статья была написана… Не удержался и решил обратиться с вопросом к Джамилю Азизовичу:

«Вот уже много лет вы возглавляете НОЦ, который из разряда ординарной больницы превратили в суперсовременную клинику, где лечат не только граждан нашей Республики, но и многих стран зарубежья. НОЦ признан крупными специалистами как один из передовых центров по борьбе с онкозаболеваниями. Это факт. Но это, бесспорно, потребовало от вас большой нервной, моральной, физической, если хотите, душевной отдачи. Не надоело?

Джамиль Азизович явно не ожидал такого вопроса. Немного подумав, ответил:

«Надоело. Изо дня в день приходится заниматься не врачебным делом во имя создания этого центра. Порою руки опускаются. Но, придя на работу, видишь, как на твоих глазах растет центр, создаются новые отделения, радуют новые кадры с хорошим образованием, высокой культурой, с которыми можно идти вперед. Когда видишь улыбки больных, их слезы благодарности, тогда ты понимаешь, что нужен. Поэтому усталость – это личное. Буду работать, пока нужен. До тех пор, пока буду слышать простое человеческое спасибо. Пока есть силы помогать своему народу…»

Так пожелаем этому удивительному человеку еще многих лет успешной работы в столь благородном и нужном деле.